

Алексей Писемский

Мещане



Алексей Писемский

Мещане

«Public Domain»

1877

Писемский А. Ф.

Мещане / А. Ф. Писемский — «Public Domain», 1877

«...На Таганке, перед большим домом, украшенным всевозможными выпуклостями, Бегушев остановился. В доме перед тем виднелся весьма слабый свет; но когда Бегушев позвонил в колокольчик, то по всему дому забежали огоньки, и весь фасад его осветился. На все это, разумеется, надобно было употребить некоторое время, так что Бегушев принужден был позвонить другой раз...»

© Писемский А. Ф., 1877

© Public Domain, 1877

Содержание

Часть первая	5
Глава I	5
Глава II	9
Глава III	14
Глава IV	19
Глава V	24
Глава VI	29
Глава VII	34
Глава VIII	41
Глава IX	49
Глава X	52
Глава XI	56
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Алексей Феофилактович Писемский

Мещане

Роман в трех частях

Часть первая

Глава I

В Большом театре давали «Травиату». Примадонна была восхитительна. В переднем ряду, между все почти военными, сидел один статский. В его фигуре, начиная с курчавой, значительно поседевшей головы и весьма выразительного, подвижного лица до посадки всего тела, проглядывало что-то гордое и осанистое. Он сидел, опершись своими красивыми руками на дорожную палку. Костюм его весь состоял из одноцветной материи. По окончании первого акта, когда статский встал с своего места и обернулся лицом к публике, к нему обратился с разговором широкоплечий генерал с золотым аксельбантом и начал рассказывать, по мнению генерала, вероятно, что-нибудь очень смешное. Статский выслушал его весьма внимательно, но в ответ генералу ничего не сказал и даже на лице своем ничего не выразил. Тот, заметно этим несколько обидевшись, отвернулся от статского и, слегка поддувая под свои нафабранные усы, стал глядеть на ложи. В это время с другой половины кресел стремился к статскому другой военный, уж какой-то длинновязый, с жиденькими усами и бакенбардами, с лицом, усыпанным веснушками, с ученым знаком на груди и в полковничьих эполетах. Он давно со вниманием заглядывал на статского, и, когда тот повернул к нему лицо свое, военный, как-то радостно воскликнув: «Боже мой, это Бегушев!» – начал, шагая через ноги своих соседей, быстро пробираться к нему.

– Александр Иванович, вы ли это? – произнес он, останавливаясь, наконец, перед Бегушевым.

Что-то вроде приветливой улыбки промелькнуло на губах того.

– Ах, Янсутский, здравствуйте! – проговорил он, протягивая военному руку и как бы несколько обязательным тоном.

После того Янсутский некоторое время переминался перед Бегушевым, видимо, отыскивая подходящий предмет для разговора.

– Но каким же образом вы на опере Верди? – придумал он, наконец.

Бегушев усмехнулся.

– Что вас так удивляет это? Я очень люблю эту оперу, – отвечал он.

– Но знатоки, кажется, вообще не слишком высоко ставят Верди?.. – больше спросил Янсутский.

– Я не особенный знаток... – протянул Бегушев.

– Ну, как вы не знаток!.. – возразил Янсутский и затем прибавил: – Как, однако, много времени прошло с тех пор, как я имел честь познакомиться с вами за границей... Лет пятнадцать, кажется?

– Да, – протянул и на это Бегушев.

Янсутский придал затем печальное выражение своему лицу.

– А Наталья Сергеевна, как я слышал, кончила жизнь?

Лицо Бегушева окончательно омрачилось.

– Она умерла, – проговорил он.

После этого оба собеседника опять на некоторое время замолчали.

– А вы тоже в Москве живете? – сказал Бегушев как бы затем, чтобы что-нибудь сказать.

– Я, собственно, больше живу в вагонах, на железной дороге. Я занимаюсь коммерцией: распорядитель в нескольких компаниях и сам тоже имею подряды. Нельзя, знаете: в год тычонок шестьдесят-восемьдесят иногда зашибешь, – приятно это и соблазнительно... – объяснил Янсутский.

– Но каким же образом вам позволяют носить ваш военный мундир? – спросил Бегушев явно удивленным голосом.

– Да... ну, это что же!.. Я, собственно, схлопотал и сохранил себе эту форму больше для апломба. Весу она, знаете, как-то больше дает между разным этим мужичьем: подрядчиками... купцами!.. Россия-матушка еще страна варварская: боится и уважает палку и светленький позументик!

Бегушев на это молчал.

– Вы, если я не ошибаюсь, дом свой в Москве имеете? – допрашивал его Янсутский.

– Свой-с! – отвечал ему лаконически Бегушев.

– Надеюсь, что вы позволите мне быть у вас, – продолжал Янсутский, слегка кланяясь, – у меня тоже здесь свой дом, который и вы, может быть, знаете: на Тверской, против церкви; хатка этакая небольшая – на три улицы выходит... Сам я, впрочем, не живу в нем, так как бываю в Москве на время только...

Бегушев и на это совершенно промолчал.

– Буду иметь честь явиться к вам! – заключил Янсутский и, расшаркавшись, отошел от Бегушева; но, проходя мимо широкоплечего с аксельбантом генерала, почти в полспины поклонился ему. Генерал протянул ему два пальца. Янсутский пожал их и, заметно оставшись очень доволен этим, вышел с некоторою гордостью на средний проход, где, приостановившись, взглянул на одну из бельэтажных лож, в которой сидела одна-одинехонька совершенно бабочке подобная дама, очень богато разодетая, с целым ворохом волос на голове, с лицом бледным и матовым, с светлыми, веселыми глазками и с маленьким, вздернутым носиком. В продолжение всего акта она совершенно не слушала оперы, сидела даже отвернувшись от сцены, очень часто зевала и прислонялась головкой к спинке кресел, как бы затем, чтобы заснуть. Единственным развлечением ее была стоявшая на перилах ложи бонбоньерка, из которой она беспрестанно таскала конфеты, нехотя сосала, жевала их и некоторые даже выкидывала из своего хорошенького рта. Увидав Янсутского, дама сделала ему пригласительный знак рукою. Тот кивнул ей, в свою очередь, головой и через несколько минут вошел к ней в ложу.

– На, съешь конфетку! – начала она, как только что он уселся рядом с ней.

– Подите, не хочу! – отвечал Янсутский.

– Съешь!.. Съешь непременно! – повторила настойчиво дама и почти насильно сунула ему в руку огромную конфету.

Янсутский улыбнулся, пожал плечами; но делать нечего: начал есть конфету.

– С кем ты с последним мужчиной говорил? – спросила дама.

– С Бегушевым.

– А ты разве знаком с ним?

– Давным-давно, – отвечал Янсутский.

Дама после того, прищулив свои хорошенькие глазки, начала внимательно смотреть на Бегушева.

– А он в самом деле очень хорош собой! – проговорила она, с живостью повертывая свою головку к Янсутскому.

Бегушев в это время все еще стоял лицом к публике и действительно, по благородству своей фигуры, был как отменный соболь между всеми.

– Чем же особенно хорош? Наконец, он не молод очень, – старик почти! – возразил Янсутский.

– А он богат? – продолжала расспрашивать дама.

– Богат!

– Говорят, он очень умный и ученый, что ли?

– А черт его знает, умный ли он и ученый! – произнес уж с некоторою досадливостью Янсутский. – Но кто ж тебе говорил все это про него?

– Домна Осиповна, разумеется!.. Кто ж больше!..

Янсутский при этом усмехнулся.

– Значит, это правда, что она с ним сошлась?

– Еще бы не правда!.. – воскликнула дама. – Вчера была ее горничная Маша у нас. Она сестра моей Кати и все рассказывала, что господин этот каждый вечер бывает у Домны Осиповны, и только та очень удивляется: «Что это, говорит, Маша, гость этот так часто бывает у меня, а никогда тебе ничего не подарит?»

Янсутский снова на это усмехнулся.

– Как же это так случилось? Домна Осиповна всегда себя за такую смиренницу выдавала! – сказал он.

– Пожалуйста, смиренницу какую нашел! – произнесла насмешливо его собеседница. – Она когда и с мужем еще жила, так я не знаю со сколькими кокетничала!..

– Но тогда она это делала, как сама мне говорила, для того, чтобы ревность в муже возбудить и чтобы хоть этим удержать его около себя.

– Ну да, так!.. Для этого только!.. – горячилась дама. – Кокетничала, потому что самой это приятно было; но главное, досадно, – зачем притворничать? Я как-то посмеялась ей насчет этого Бегушева, она вдруг надулась! «Я вовсе, говорит, не так скоро и ветрено дарю мои привязанности!..» Знаешь, мне хотела этим маленькую шпильку сказать!

– И за дело!.. Зачем же вызывать на такие разговоры, когда кто их сам не начинает...

– Я их теперь и не начну больше никогда с ней!.. – сказала дама и при этом от досады сделала движение рукою, от которого лежавшая на перилах афиша полетела вниз. – Ах! – воскликнула при этом дама совершенно детским голосом и очень громко, так что Янсутский вздрогнул даже немного.

– Что такое? – спросил он.

– Посмотри, я афишу уронила, – продолжала дама, загибая голову вниз, – вон она летит и прямо-прямо одному старичку на голову; а он и не чувствует ничего, ха-ха-ха!

И дама, откинувшись на задок кресла, начала хохотать.

– Перестань, Лиза; разве можно так держать себя в театре! – унимал ее Янсутский.

– Не могу, не могу удержаться!.. – говорила дама.

Янсутский покачал только с неудовольствием головой и, встав со стула, начал поправлять ремень у своей сабли.

– А ты разве не поедешь ко мне ужинать? У меня папа будет и привезет устриц! – проговорила дама.

– Бог с ним, с твоим папа, и с его устрицами... Мне еще нужно в одном месте быть.

– Так вот что... – начала дама, и голос ее как бы изменил своей обычной веселости. – Каретник опять этот являлся: ему восемьсот рублей надобно заплатить.

Что-то вроде кислой гримасы пробежало по лицу Янсутского.

– Заплатил уж я ему, – отвечал он с явной досадой.

– И потом... – продолжала дама, голос ее все еще оставался каким-то нетвердым, – из магазина от Леон тоже приходили, и ты, пожалуйста, скажи им, чтобы они и не ходили ко мне... я об этих противных деньгах терпеть не могу и разговаривать.

– А вещи когда берешь, это любишь? – заметил ей ядовито Янсутский.

– Вещи я, конечно, люблю, а потом я хотела тебе сказать, – сердись ты на меня или не сердись, но изволь непременно на нынешнее лето в Петергофе дачу нанять, или за границу уедем... Я этих московских дач видеть не могу.

– Успеем еще это сделать, – отвечал Янсутский, уже уходя.

– Непременно же! – крикнула ему вслед дама.

В продолжение всего этого разговора генерал с золотым аксельбантом не спускал бинокля с ложи бабочке подобной дамы, и, когда Янсутский ушел от нее, он обратился к стоявшему около него молодому офицеру в адъютантской форме:

– Это madame Мерова, если я не ошибаюсь?

– Да-с! – отвечал адъютант.

– И в ее ложе, по обыкновению, Янсутский!.. – продолжал генерал.

– Как всегда! – отвечал с улыбкой адъютант. – Очень, говорят, она дорого ему стоит! – прибавил он негромко.

– Дорого? – любопытствовал генерал.

– Тысяч двадцать пять в год! – объяснил адъютант.

– Ого, сколько!.. – произнес негромко, но заметно одобрительным тоном генерал.

При разъезде Бегушев снова в сенях встретился с Янсутским, который провожал m-me Мерову. Янсутский поспешил взаимно представить их друг другу. Бегушев поклонился m-me Меровой с некоторым недоумением, как бы не понимая, зачем его представляют этой даме, а m-me Мерова кинула только пристальный, но короткий на него взгляд и пошла, безбожнейшим образом волоча длинный хвост своего дорогого платья по грязному полу сеней... От рассеянности ли она это делала или от каких-нибудь мыслей, на минуту забежавших в ее головку, – сказать трудно!

К подъезду первая была подана карета m-me Меровой, запряженная парой серых, в яблоках, жеребцов. M-me Мерова как птичка впорхнула в карету. Ливрейный лакей захлопнул за ней дверцы и вскочил на козлы. Вслед за тем подъехал фаэтон Янсутского – уже на вороных кровных рысаках.

– Кто это именно дама, с которой вы меня познакомили? – спросил его Бегушев.

– Это одна моя очень хорошая знакомая, – отвечал Янсутский с некоторой лукавой усмешкой. – Нельзя, знаете, я человек неженатый. Она, впрочем, из очень хорошей здешней фамилии, и больше это можно назвать, что *par amour*¹. Честь имею кланяться! – И затем, сев в свой экипаж и приложив руку к фуражке, он крикнул: – В Яхт-клуб!

Кровные рысаки через мгновение скрыли его из глаз Бегушева.

Нет никакого сомнения, что Янсутский и m-me Меровою, и ее каретою с жеребцами, и своим экипажем, и даже возгласом: «В Яхт-клуб!» хотел произвести некоторый эффект в глазах Бегушева. Он, может быть, ожидал даже возбудить в нем некоторое чувство зависти, но тот на все эти блага не обратил никакого внимания и совершенно спокойно сел в свою, тоже очень хорошую карету.

Кучер его, выбравшись из ряда экипажей, обернулся к нему и спросил:

– За Москву-реку прикажете ехать?

– Туда! – отвечал Бегушев.

Кучер поехал.

¹ по любви! (франц.).

Глава II

На Таганке, перед большим домом, украшенным всевозможными выпуклостями, Бегушев остановился. В доме перед тем виднелся весьма слабый свет; но когда Бегушев позвонил в колокольчик, то по всему дому забежали огоньки, и весь фасад его осветился. На все это, разумеется, надобно было употребить некоторое время, так что Бегушев принужден был позвонить другой раз. Наконец, ему отворили. Он вошел и сделал невольно гримасу от кинувшегося ему в нос запаха только что зажженного фотогена². Три приемные комнаты, через которые проходил Бегушев, представляли в себе как-то слишком много золота: золото в обоях, широкие золотые рамы на картинах, золото на лампах и на держащих их неуклюжих рыцарях; потолки пестрели тяжелою лепною работою; ковры и салфетки, покрывавшие столы, были с крупными, затейливыми узорами; драпировки на окнах и дверях ярких цветов... Словом, во всем чувствовалась какая-то неизящная и очень недорогая роскошь. В этих комнатах не было никого; но в четвертой комнате, представляющей что-то вроде женского кабинета, Бегушев нашел в домашнем туалете молодую даму, сидевшую за круглым столом в покойных креслах, с глазами, опущенными в книгу. Это была та самая Домна Осиповна, о которой упоминала m-me Мерова. При входе гостя Домна Осиповна взмахнула глаза на него, нежно улыбнулась ему и, протягивая свою красивую руку, проговорила как бы не совсем искренним голосом:

– А я было и ждать вас совсем перестала, – досадный этакой!

– Виноват, опоздал: я в театре был, – отвечал Бегушев, довольно тяжело опускаясь на кресло, стоявшее против хозяйки. Вместе с тем он весьма внимательно взглянул на нее и спросил: – Вы все еще больны?

– Да, у меня здесь вот очень болит, – сказала Домна Осиповна, показывая себе на горло, кокетливо завязанное батистовым платком.

– Но что же доктор, как объясняет вашу болезнь? – продолжал Бегушев уже с беспокойством.

– А бог его знает: никак не объясняет! – отвечала Домна Осиповна. Она, впрочем, вряд ли и больна была, а только так это говорила, зная, что Бегушеву нравятся болеющие женщины. – Главное, досадно, что курить не позволяют! – присовокупила она.

– Ну, это еще беда небольшая! – заметил ей Бегушев.

– Да, я знаю, вы даже рады этому! – сказала Домна Осиповна. – Однако что же я не спрошу вас: вы чаю, может быть, хотите?

– Ежели есть он, – отвечал Бегушев.

– О, конечно, – проговорила Домна Осиповна и, проворно встав, вышла в соседнюю комнату. Там она торопливым голосом сказала своей горничной: – Чаю, Маша, сделай, и не из того ящика, из которого я пью, а который получше, знаешь?

– Знаю-с, – подхватила сметливая горничная.

– На стакан или на два – не больше! – прибавила Домна Осиповна.

– Понимаю-с! – снова подхватила горничная.

Бегушев между тем сидел, понурился немного голову и как бы усмехаясь сам с собой. Будь он менее погружен в свои собственные мысли, он, может быть, заметил бы некоторые маленькие, но тем не менее характерные факты. Он увидел бы, например, что между сиденьем и спинкой дивана затиснут был грязный батистовый платок, перед тем только покрывавший большое горло хозяйки, и что чистый надет уже был теперь, лишь сию минуту; что под развернутой книгой журнала, и развернутой, как видно, совершенно случайно, на какой бог привел странице, так что предыдущие и последующие листы перед этой страницей не были даже разрезаны, –

² Фотоген – так назывались в 70-е годы минеральные масла, применявшиеся для освещения.

скрывались крошки черного хлеба и не совсем свежей колбасы, которую кушала хозяйка и почти вышвырнула ее в другую комнату, когда раздался звонок Бегушева.

Возвратившись в кабинет, Домна Осиповна снова уселась в свое кресло, приложила ручку к виску и придавала несколько нежный оттенок своему взгляду, словом – заметно рисовалась... Она была очень красивая из себя женщина, хотя в красоте ее было чересчур много эффектного и какого-то мертво-эффектного, мазочного, – она, кажется, несколько и притиралась. Взгляд ее черных глаз был умен, но в то же время того, что дается образованием и вращением мысли в более высших сферах человеческих знаний и человеческих чувствований, в нем не было. Несомненно, что Домна Осиповна думала и чувствовала много, но только все это происходило в области самых низших людских горестей и радостей. Самая глубина ее взгляда скорей говорила об лукавстве, затаенности и терпеливости, чем о нежности и деликатности натуры, способной глубоко чувствовать.

Бегушев приподнял, наконец, свою голову; улыбка все еще не сходила с его губ.

– Сейчас я ехал-с, – начал он, – по разным вашим Якиманкам, Таганкам; меня обогнало более сотни экипажей, и все это, изволите видеть, ехало сюда из театра.

– Ах, отсюда очень многие ездят! – подхватила Домна Осиповна. – Весь абонемент итальянской оперы почти составлен из Замоскворечья.

Бегушев развел только руками.

– И таким образом, – сказал он с грустной усмешкой, – Таганка и Якиманка³ – безапелляционные судьи актера, музыканта, поэта; о печальные времена!

– Что ж, из них очень много образованных людей, прекрасно все понимающих! – возразила Домна Осиповна.

– Вы думаете? – спросил ее Бегушев.

– Да, я даже знаю очень много примеров тому; моего мужа взять, – он очень любит и понимает все искусства...

Бегушев несколько нахмурился.

– Может быть-с, но дело не в людях, – возразил он, – а в том, что силу дает этим господам, и какую еще силу: совесть людей становится в руках Таганки и Якиманки; разные ваши либералы и демагоги, шапки обыкновенно не хотевшие поднять ни перед каким абсолютизмом, с наслаждением, говорят, с восторгом приемлют разные субсидии и службишки от Таганки!

– Но кто же это? Нет! – не согласилась Домна Осиповна.

– Есть!.. Есть!.. – воскликнул Бегушев. – Рассказывают даже, что немцы в Москве, более прозорливые, нарочно принимают православие, чтобы только угодить Якиманке и на благосклонности оной сотворить себе честь и благодать, – и созидают оное, созидают! – повторил он несколько раз.

Домна Осиповна на это только усмехнулась: она видела, что Бегушев начал острить, а потому все это, конечно, очень мило и смешно у него выходило; но чтобы что-нибудь было серьезное в его словах, она и не подозревала.

Бегушев заметно одушевился.

– Это бессмыслица какая-то историческая! – восклицал он. – Разные рыцари, – что бы там про них ни говорили, – и всевозможные воины ломали себе ребра и головы, утучняли целые поля своею кровью, чтобы добыть своей родине какую-нибудь новую страну, а Таганка и Якиманка поехали туда и нажили себе там денег... Великие мыслители иссушили свои тяжеловесные мозги, чтобы дать миру новые открытия, а Таганка, эксплуатируя эти открытия и обсчитывая при этом работника, зашибла и тут себе копейку и теперь комфортабельнейшим образом разъезжает в вагонах первого класса и поздравляет своих знакомых по телеграфу со

³ Таганка и Якиманка – безапелляционные судьи. – Имеется в виду купечество, жившее в старой Москве, главным образом в Замоскворечье – в «Таганках и Якиманках».

всяким вздором... Наконец, сам Бетховен и божественный Рафаэль как будто бы затем только и горели своим вдохновением, чтобы развлекать Таганку и Якиманку или, лучше сказать, механически раздражать их слух и зрение и услаждать их чехвальство.

При последних словах Домна Осиповна придала серьезное выражение своему лицу и возразила почти глубокомысленным тоном:

– Почему же для Таганки одной? Я думаю, и другие могут этим пользоваться и наслаждаться.

– Да других-то, к несчастью, не стало-с! – отвечал с многозначительностью Бегушев. – Я совершенно убежден, что все ваши московские Сент-Жермены⁴, то есть Тверские бульвары, Большие и Малые Никитские⁵, о том только и мечтают, к тому только и стремятся, чтобы как-нибудь уподобиться и сравниться с Таганкой и Якиманкой.

– Богаты уж очень Таганка и Якиманка! Все, разумеется, и желают себе того же, – заметила Домна Осиповна, – в чем, впрочем, и винить никого нельзя: жизнь сделалась так дорога...

– А, если бы вопрос только о жизни был, тогда и говорить нечего; но тут хотят шубу на шубу надеть, сразу хапнуть, как екатерининские вельможи делали: в десять лет такие состояния наживали, что после три-четыре поколения мотают, мотают и все-таки промотать не могут!..

В это время горничная принесла Бегушеву чай.

– Поставь это на стол и сама можешь уйти! – сказала ей Домна Осиповна.

Горничная исполнила ее приказание и ушла.

Бегушев, вероятно очень мучимый жаждою, сразу было хотел выпить целый стакан, но вдруг приостановился, поморщился немного, поставил стакан снова на стол и даже поотодвинул его от себя: чай хоть и был приготовлен из особого ящика, но не совсем, как видно, ему понравился. Домна Осиповна заметила это и постаралась внимание Бегушева отвлечь на другое.

– Пойдите, пойдите! – начала она как бы слегка укоризненным тоном. – Я вас сейчас поймаю; положим, действительно многие, как вы говорите, ездят, чтобы только физически раздражать свои органы слуха и зрения; но зачем вы-то, все уж, кажется, видевший и изучивший, ездили сегодня в театр?

– Я? – спросил Бегушев.

– Да, вы!.. Мне не на шутку досадно было: я больна, скучаю, а вы не едете ко мне.

– Очень просто: я слушал «Травиату»! – объяснил Бегушев.

Лицо Домны Осиповны при этом мгновенно просияло.

– А! – сказала она и потом присовокупила тихо нежным голосом: – Что же, по той все причине, что Травиата напоминает вам меня?

– Не по иной другой-с! – отвечал Бегушев вместе шутливо и с чувством.

– Уж именно! – подтвердила Домна Осиповна. – Я не меньше Травиаты выстрадала: первые годы по выходе замуж я очень часто больна была, и в то время, как я в сильнейшей лихорадке лежу у себя в постели, у нас, слышу, музыка, танцы, маскарады затеваются, и в заключение супруг мой дошел до того, что возлюбленную свою привез к себе в дом...

Бегушев, сидевший все потупившись, при этом вдруг приподнял голову и уставил пристальный взгляд на Домну Осиповну.

– Скажите: вы очень любили вашего мужа? – спросил он.

– Очень! – отвечала Домна Осиповна. – И это чувство во мне, право, до какой-то глупости доходило, так что когда я совершенно ясно видела его холодность, все-таки никак не могла удержаться и раз ему говорю: «Мишель, я молода еще... – Мне всего тогда было двадцать три

⁴ Сент-Жермен (точнее Сен-Жермен) – аристократический квартал в Париже.

⁵ Тверские бульвары, Большие и Малые Никитские. – На этих улицах Москвы когда-то селилась преимущественно дворянская знать.

года... – Я хочу любить и быть любимой! Кто ж мне заменит тебя?...» – «А любой, говорит, кадет, если хочешь...»

– Дурак! – произнес, как бы не утерпев, Бегушев и повернулся в своем кресле.

Домна Осиповна покраснела: она поняла, что чересчур приподняла перед Бегушевым завесу с своих семейных отношений.

– Конечно, это так глупо было сказано, что я даже не рассердилась тогда, – поспешила она прибавить с улыбкой.

Но Бегушев оставался серьезным.

– И что же вы, жили с ним после этого? – проговорил он.

– Да!..

– Странно! – сказал Бегушев, снова потупляя свое лицо. Ему как будто бы совестно было за Домну Осиповну.

– Но я еще любила его – пойми ты это! – возразила она ему. – Даже потом, гораздо после, когда я, наконец, от его беспутства уехала в деревню и когда мне написали, что он в нашу квартиру, в мою даже спальню, перевез свою госпожу. «Что же это такое, думаю: дом принадлежит мне, комната моя; значит, это мало, что неуважение ко мне, но профанация моей собственности».

При слове «профанация» Бегушев поморщился.

Домна Осиповна, привыкшая замечать малейший оттенок на его лице и не совсем понявшая, что ему, собственно, не понравилось, продолжала уж несколько робким голосом:

– И вообрази, при моем слабом здоровье я на почтовых проскакала в какие-нибудь сутки триста верст, – вхожу в дом и действительно вижу, что в моей комнате, перед моим трюмо причесывается какая-то госпожа... Что я ей сказала, – сама не помню, только она мгновенно скрылась...

Бегушев, наконец, усмехнулся.

– Воображаю, какая ей песня была пропета, – проговорил он.

– Ужасная, кажется... – продолжала Домна Осиповна, – я даже не люблю себя за это: я очень мало умею себя сдерживать.

– В этом случае, я думаю, нечего и сдерживать себя было: в вас говорило простое и законное чувство, – заметил Бегушев.

– Да, но все нехорошо!.. Потом муж приехал... ему тоже досталось; от него, по обыкновению, пошли мольбы, просьбы о прощении, целование ручек, ножек, уверения в любви – и я, дура, опять поверила.

– Общее свойство всех женщин! – сказал Бегушев.

– Нет, кажется в этом случае я самая глупая женщина: ну чего могла я ожидать от моего супруга после всего, что он делал против меня? Конечно, ничего, как и оказалось потом: через неделю же после того я стала слышать, что он всюду с этой госпожой ездит в коляске, что она является то в одном дорогом платье, то в другом... один молодой человек семь шляпок мне у ней насчитал, так что в этом даже отношении я не могла соперничать с ней, потому что муж мне все говорил, что у него денег нет, и какие-то гроши выдавал мне на туалет; наконец, терпение мое истощилось... я говорю ему, что так нельзя, что пусть оставит меня совершенно; но он и тут было: «Зачем, для чего это?» Однако я такой ему сделала ад из жизни, что он не выдержал и сам уехал от меня.

– Ад сделали? – спросил с злым удовольствием Бегушев.

– Решительный ад!.. Что ж, я не скрываю этого теперь!.. – отвечала Домна Осиповна. – Я вот часто думаю, – продолжала она, – что неужели же я должна была после такой ужасной семейной жизни умереть для всего и не позволить себе полюбить другого... Счастье мое, конечно, что я в первое время, при таком моем ожесточенном состоянии, не бросилась прямо, как супруг мне предлагал, на шею какому-нибудь дрянному господину; а потом нас же, жен-

щин, обыкновенно винят, почему мы не полюбим хорошего человека. Господи! Я думаю, каждая женщина больше всего желает, чтобы ее полюбил хороший человек; но много ли их на свете? Я теперь очень стала разочарована в людях: даже когда тебя полюбила, так боялась, что стоишь ли ты того!

– А может быть, и я не стою твоей любви? – спросил ее Бегушев.

– Нет, ты стоишь, в этом я теперь убеждена, – отвечала Домна Осиповна и, встав, подошла к Бегушеву, обняла его и начала целовать. – Ты паинька у меня – вот кто ты! – проговорила она ласковым голосом, а потом тут же, сейчас, взглянув на часы, присовокупила: – Однако, друг мой, тебе пора домой!

– Пора? – повторил Бегушев.

– Да, а то люди, пожалуй, после болтать будут, что ты сидишь у меня до света: второй уже час.

– Уже? Действительно, пора! – сказал Бегушев, приподнимаясь с кресел и отыскивая свою шляпу.

– Но только, как я тебе говорила, я пока так остерегаюсь; а потом, когда разные дразги у меня кончатся, я вовсе не намерена скрывать моих чувств к вам; напротив: я буду гордиться твоею любовью.

Бегушев усмехнулся.

– Как итальянка Майкова: «Гордилась ли она любви своей позором»⁶...

– Именно: я буду гордиться любви моей позором! – подхватила Домна Осиповна.

Бегушев после того крепко пожал ей руку, поцеловал ее и, мотнув приветливо головой, пошел своей тяжеловатой походкой.

Домна Осиповна заметно осталась очень довольна всем этим разговором; ей давно хотелось объяснить и растолковать себя Бегушеву, что и сделала она, как ей казалось, довольно искусно. Услышав затем, что дверь за Бегушевым заперли, Домна Осиповна встала, прошла по всем комнатам своей квартиры, сама погасила лампы в зале, гостиной, кабинете и скрылась в полутемной спальне.

⁶ Как итальянка Майкова: «Гордилась ли она любви своей позором». – Имеется в виду строка из стихотворения А. Майкова «Скажи мне, ты любил на родине своей?» (1844) из цикла «Очерки Рима».

Глава III

Бегушев, как мы знаем, имел свой дом, который в целом околотке оставался единственным в том виде, каким был лет двадцать назад. Он был деревянный, с мезонином; выкрашен был серою краскою и отличался только необыкновенною соразмерностью всех частей своих. Сзади дома были службы и огромный сад.

Некоторые из знакомых Бегушева пытались было доказывать ему, что нельзя в настоящее время в Москве держать дом в подобном виде.

– В каком же прикажете? – спрашивал он уже со злостью в голосе.

– Его надобно иначе расположить, надстроить, выщекатурить, украсить этими прекрасными фронтонами, – объясняли знакомые.

– Это не фронтоны-с, а коровьи соски, которыми изукрасилась ваша Москва! – восклицал почти с бешенством Бегушев.

Знакомые пожимали плечами, удивляясь, каким образом все эти прекрасные украшения могли казаться Бегушеву коровьими сосками.

– Но, наконец, – продолжали они, – это варварство в столице оставлять десятины две земли в такой непроизводительной форме, как сад ваш.

– Что ж мне, огород, что ли, тут разбить? Я люблю цветы, а не овощи! – возражал Бегушев.

– Нет, вы постройтесь тут и отдавайте внаймы: предприятие это нынче очень выгодно, – доказывали знакомые.

– Я дворянский сын-с, – мое дело конем воевать, а не торгом торговать, – отвечал на это с каким-то даже удалством Бегушев.

– Ну продайте эту землю кому-нибудь другому, если сами не хотите, – урезонивали его знакомые.

– Чтобы тут какой-нибудь каналья на рубль капитала наживал полтину процента, – никогда! – упорствовал Бегушев.

В доме у него было около двадцати комнат, которые Бегушев занимал один-одинехонек с своими пятью лакеями и толстым поваром Семеном – великим мастером своего дела, которого переманивали к себе все клубы и не могли переманить: очень Семену покойно и прибыльно было жить у своего господина. Убранство в доме Бегушева, хоть и очень богатое, было все старое: более десяти лет он не покупал ни одной вещички из предметов роскоши, уверяя, что на нынешних рынках даже бронзы порядочной нет, а все это крашеная медь.

Раз, часу во втором утра, Бегушев сидел, по обыкновению, в одной из внутренних комнат своих, поджав ноги на диване, пил кофе и курил из длинной трубки с очень дорогим янтарным мундштуком: сигар Бегушев не мог курить по крепости их, а папиросы презирал. Его седоватые, но еще густые волосы были растрепаны, усы по-казацки опускались вниз. Борода у Бегушева была коротко подстрижена. Он был в широком шелковом халате нараспашку и в туфлях; из-под белой как снег батистовой рубашки выставлялась его геркулесовски высокая грудь. В этом наряде и в своей несколько азиатской позе Бегушев был еще очень красив.

На другом диване (комната уставлена была диванами и даже называлась диванною) помещался господин, по наружности совершенно противоположный хозяину: высокий, в коротеньком пиджаке, весьма худощавый, гладко остриженный, с длинными, тщательно расчесанными и какого-то пепельного цвета бакенбардами, с физиономией умною, но какою-то прокислою, какие обыкновенно бывают у людей, самолюбие которых смолodu было сильно оскорбляемо; и при этом он старался держать себя как-то чересчур прямо, как бы топорщась даже. Видимо, что от природы ему не дано было никакой важности и он уже впоследствии старался воспитать ее в себе. Господин этот был некто Ефим Федорович Тюменев, друг и сверстник Бегушева по

дворянскому институту, а теперь тайный советник, статс-секретарь и один из влиятельнейших лиц в Петербурге.

Приезжая в Москву, Тюменев всегда останавливался у Бегушева, и при этом обыкновенно спорам и разговорам между ними конца не было. В настоящую минуту они тоже вели весьма душевную беседу между собой.

– И что же, эта привязанность твоя серьезная? – спрашивал Тюменев с легкой усмешкой.

– Разумеется!.. Намерение мое такое, чтобы и дни мои закончить около этой госпожи, – отвечал Бегушев.

– Она, значит, женщина умная, образованная? – продолжал расспрашивать Тюменев.

– То есть она умна, и даже очень, от природы, но образования, конечно, поверхностного...

– А собой, вероятно, хороша?

– Да-с, насчет этого мы можем похвастать!.. – воскликнул Бегушев. – Я сейчас тебе портрет ее покажу, – присовокупил он и позвонил. К нему, однако, никто не шел. Бегушев позвонил другой раз – опять никого. Наконец он так дернул за сонетку, что звонок уже раздался на весь дом; послышались затем довольно медленные шаги, и в дверях показался камердинер Бегушева, очень немолодой, с измятою, мрачною физиономией и с какими-то глупо подвитыми на самых только концах волосами.

– Принеси мне из кабинета большой портрет Домны Осиповны, – сказал ему Бегушев.

Камердинер не трогался с своего места.

– Портрет Домны Осиповны, – сказал ему еще раз Бегушев.

Лицо камердинера сделалось при этом еще мрачнее.

– Да он-с висит там, – проговорил он, наконец.

– Ну да, висит! – повторил Бегушев.

– Над столом-с!.. На стол надо лезть! – продолжал камердинер.

– На стол, конечно! – подтвердил Бегушев.

Камердинер, придав своему лицу выражение, которым как бы хотел сказать: «Нечего вам, видно, делать», пошел.

В продолжение всей этой сцены Тюменев слегка усмехался.

– Прокофий твой не изменяется, – сказал он, когда камердинер совсем ушел.

– Изменяется, но только к худшему!.. – отвечал Бегушев. – Скотина совершенная стал: третьего дня у меня обедали кой-кто... я только что заикнулся ему, что мы все есть хотим, ну и кончено: до восьми часов и не подал обеда.

Тюменев при этом покачал головой.

– Охота же тебе держать подобного дурака, – проговорил он.

– Но кто ж его возьмет без меня? – возразил Бегушев. – У него вот пять человек ребятишек; он с супругой занимает у меня четыре комнаты... наконец, я ему говорю: «Не делай ничего, пользуйся почетным покоем, лакей и без тебя есть!» Ничуть не бывало – все хочет делать сам... глупо... лениво... бестолково!

– Это может хоть кого вывести из терпения! – заметил Тюменев.

– И выводит: я пускал в него чернильницу и бритвенницу... боюсь, что с бешеным моим характером я убью его когда-нибудь до смерти. А он еще рассмеется обыкновенно в таких случаях и преспокойно себе уйдет.

– Он знает, – протянул Тюменев, – что ты же придешь к нему просить прощения.

– В том-то и дело! – воскликнул Бегушев. – Мало, что прощения просить, да денег еще дам.

На этих словах он остановился, потому что Прокофий возвратился с портретом в руках, который он держал задом к себе и глубокомысленно смотрел на него.

– Петля вон тут лопнула, на которой он висел, – доложил он, показывая портрет барину.

- Потому что ты не снял его, а сдернул, – сказал тот.
- Да кто ж до него дотянется туда! – почти крикнул Прокофий.
- Ну, пожалуйста, не оправдывайся! – остановил его Бегушев.

Прокофий на это насмешливо только мотнул головой и ушел.

Бегушев передал портрет Тюменеву, который стал на него смотреть – сначала простым глазом, потом через пенсне, наконец, в кулак, свернувши его в трубочку.

Бегушев с заметным нетерпением ожидал услышать его мнение.

- Elle est tres jolie et tres distinguee⁷, – произнес, наконец, Тюменев.
- Да!.. Так! – согласился с удовольствием Бегушев.
- Что она?.. – При этом Тюменев нахмурил несколько свои брови. – Замужняя, разводка?
- Разводка!
- Формальная?
- Нет!

Тюменев снова начал смотреть в кулак на портрет.

– Знаешь, – начал он, придав совсем глубокомысленное выражение своему лицу, – черты лица правильные, но склад губ и выражение рта не совсем приятны.

– Это есть отчасти! – подтвердил Бегушев.

– Нет того, знаешь, – продолжал Тюменев несколько сладким голосом, – нет этого доброго, кроткого и почти ангельского выражения, которого, например, так много было у твоей покойной Наталии Сергеевны.

– Эх куда хватил! Наталий Сергеевен разве много на свете! – воскликнул Бегушев, и глаза его при этом неведомо для него самого мгновенно наполнились слезами. – Ты вспомни одно – семью, в которой Натали родилась и воспитывалась: это были образованнейшие люди с Петра Великого; интеллигенция в ихнем роде в плоть и в кровь вьелась. Где ж нынче такие?

– То есть как где же? – возразил с важностью Тюменев. – Вольно тебе поселиться в Москве, где действительно, говорят, порядочное общество исчезает; а в Петербурге, я убежден, оно есть; наконец, я лично знаю множество семей и женщин.

– Гм! Петербург! Нашел чем хвастать! Изящных женщин в целом мире не стало! – сказал с ударением Бегушев и, встав с своего места, начал ходить по комнате. – Хоть бы взять с того, курят почти все! Вот эта самая госпожа, – продолжал он, показывая на портрет Домны Осиповны, – как вахмистр какой-нибудь уланский сосет!.. Наконец, самая одежда женщин, – что это такое? Наденет в полпуда ботинки, да еще хвастает, поднимая ногу: «Смотрите, какие у меня толстые подошвы!», а ножища-то тоже точно у медведицы какой. Все-с сплошь и кругом превращается в мещанство!

– Старая, любимая песня твоя! – произнес Тюменев.

– Да, – продолжал Бегушев, все более и более разгораясь, – я эту песню начал петь после Лондонской еще выставки, когда все чудеса искусств и изобретений свезли и стали их показывать за шиллинг... Я тут же сказал: «Умерли и поэзия, и мысль, и искусство»... Ищите всего этого теперь на кладбищах, а живые люди будут только торговать тем, что наследовали от предков.

– Но что ж из этого! – сказал с усмешкою Тюменев. – Искусство, правда, несколько поослабло; но зато прогресс совершается в другом отношении: происходят огромные политические перевороты.

– Какие, какие? – перебил его почти с азартом Бегушев.

Тюменев придал недовольное выражение своему лицу.

– Любезный друг, мы столько с тобой спорили и говорили об этом, – возразил он.

⁷ Она очень красива и очень изысканна (франц.).

– И вечно буду спорить, вечно! – горячился Бегушев. – Не могу же я толкотню пигмеев признать за что-то великое.

– Почему пигмеи, и когда, по-твоему, были великаны? – продолжал Тюменев. – Люди, я полагаю, всегда были одинаковы; если действительно в настоящее время существует несколько усиленное развитие торговли, так это еще хорошо: торговля всегда способствовала цивилизации.

– «Торговля способствовала цивилизации»... Ах, эти казенные фразы, которых я слышать не могу! – кричал Бегушев, зажимая даже уши себе.

– Стало быть, ты в торговле отрицаешь цивилизующую силу? – взъерошился немного, в свою очередь, Тюменев.

– Не знаю-с, есть ли в ней цивилизующая сила; но знаю, что мне ваша торговля сделалась противна до омерзения. Все стало продажное: любовь, дружба, честь, слава! И вот что меня, по преимуществу, привязывает к этой госпоже, – говорил Бегушев, указывая снова на портрет Домны Осиповны, – что она обеспеченная женщина, и поэтому ни я у ней и ни она у меня не находимся на содержании.

Тюменев усмехнулся.

– Но женщины были во все времена у всех народов на содержании; под различными только формами делалось это, – проговорил он.

– Извините-с! Извините! – возразил опять с азартом Бегушев. – Еще в первый мой приезд в Париж были гризетки, а теперь там все лоретки, а это разница большая! И вообще, господа! – воскликнул он, закидывая голову назад. – Того ли я ожидал и надеялся от этой пошлой Европы?

– Чего ты ждал от Европы, я не знаю, – сказал Тюменев, разводя руками, – и полагаю, что зло скорей лежит в тебе, а не в Европе: ты тогда был молод, все тебе нравилось, все поселяло веру, а теперь ты стал брюзглив, стар, недоверчив.

– Что я верил тогда в человека, это справедливо, – произнес с некоторою торжественностью Бегушев. – И что теперь я не верю в него, и особенно в нынешнего человека, – это еще большая правда! Смотри, что с миром сделалось: реформация и первая французская революция страшно двинули и возбудили умы. Гений творчества облетал все лучшие головы: электричество, пар, рабочий вопрос – все в идеях предьявлено было человечеству; но стали эти идеи реализовать, и кто на это пришел? Торгаш, ремесленник, дрянь разная, шваль, и, однако, они теперь герои дня!

– Совершенно верно! – подхватил Тюменев. – Но время их пройдет, и людям снова возвратится творчество.

– Откуда?.. Я не вижу, откуда оно ему возвратится!.. Что все вокруг глупеет и пошлеет, в этом ты не можешь со мной спорить.

– Более чем спорить, я доказать тебе даже могу противное: хоть бы тот же рабочий вопрос – разве в настоящее время так он нерационально поставлен, как в сорок восьмом году?

– Рабочий-то вопрос? Ха-ха-ха! – воскликнул Бегушев и захохотал злобным смехом.

Тюменев, в свою очередь, покраснел даже от досады.

– Смеяться, конечно, можно всему, – продолжал он, – но я приведу тебе примеры: в той же Англии существуют уже смешанные суды, на которых разрешаются все споры между работниками и хозяевами, и я убежден, что с течением времени они совершенно мирным путем столкнутся и сторгуются между собой.

– И работник, по-твоему, обратится в такого же мещанина, как и хозяин? – спросил Бегушев.

– Непременно, но только того и желать надобно! – отвечал Тюменев.

– Ну, нет!.. Нет!.. – заговорил Бегушев, замотав головой и каким-то трагическим голосом. – Пусть лучше сойдет на землю огненный дождь, потоп, лопнет кора земная, но я этой курицы во шах, о которой мечтал Генрих Четвертый⁸, миру не желаю.

– Но чего же ты именно желаешь, любопытно знать? – сказал Тюменев.

– Бога на землю! – воскликнул Бегушев. – Пусть сойдет снова Христос и обновит души, а иначе в человеке все порядочное исчахнет и издохнет от смрада ваших материальных благ.

– Постой!.. Приехал кто-то? Звонят! – остановил его Тюменев.

Бегушев прислушался.

Звонок повторился.

– По обыкновению, никого нет! Эй, что же вы и где вы? – заревел Бегушев на весь дом.

Послышались в зале быстрые и пробегающие шаги.

Бегушев и Тюменев остались в ожидающем положении.

⁸ Курица во шах, о которой мечтал Генрих Четвертый. – Имеется в виду французский король Генрих IV (1553–1610), якобы выразивший желание, чтобы у каждого французского крестьянина была к обеду курица.

Глава IV

В передней между тем происходила довольно оригинальная сцена: Прокофий, подав барину портрет, уселся в зале под окошком и начал, по обыкновению, читать газету. Понимал ли он то, что читал, это для всех была тайна, потому что Прокофий никогда никому ни слова не говорил о прочитанном им. Вдруг к подъезду дома Бегушева подъехал военный в коляске, вбежал на лестницу и позвонил. Прокофий при этом и не думал подниматься с места своего, а только перевел глаза с газеты в окно и стал смотреть, как коляска отъехала от крыльца и поворачивалась. Военный позвонил в другой раз, и раздался крик Бегушева. На этот зов из задних комнат выбежал молодой лакей; тогда Прокофий встал с своего места.

– Ну да, поспел... не отворят пуще без тебя! – проговорил он тому.

Молодой лакей, делать нечего, ушел назад, а Прокофий отправился в переднюю и отворил, наконец, там дверь.

Вошел Янсутский.

– Дома Александр Иванович? – спросил он сначала очень бойко.

– Дома-с! – отвечал ему явно насмешливым голосом Прокофий.

– Принимает? – продолжал Янсутский несколько смиреннее.

– Не знаю-с, – отвечал Прокофий.

Янсутский почти опешил.

– Но кто же знает, любезный? – спросил он тоже, в свою очередь, насмешливо.

Прокофий нахмурился.

– Ваша как фамилия? – сказал он.

– Полковник Янсутский, – отвечал Янсутский с ударением на слове полковник.

Но на Прокофия это нисколько не действовало.

– А имя ваше и отчество? – продолжал он расспрашивать.

– Петр Евстигнееч! – отвечал Янсутский, несколько удивленный таким любопытством.

Прокофий подумал некоторое время.

– У них гость теперь из Петербурга, – у нас и остановился, – объяснил он, наконец.

– Кто ж такой? – спросил Янсутский.

– Тайный советник Тюменев, – сказал Прокофий.

Янсутский при этом вспыхнул немного в лице.

– Это статс-секретарь? – сказал он.

– Статс-секретарь! – повторил за ним Прокофий.

Янсутский несколько минут остался в некотором недоумении.

– Я его немножко знаю; но, может быть, Александр Иванович занят с ним и не примет меня? – проговорил он нерешительным голосом.

– Снимите шинель-то! – почти приказал ему Прокофий.

Янсутский повиновался.

Прокофий пошел медленно и, войдя в кабинет, не сейчас доложил, а сначала начал прибирать кофейный прибор, так что Бегушев сам его спросил:

– Кто там звонил? Приехал, что ли, кто?

– Полковник Янсутский спрашивает: примете ли вы его, – пробормотал себе почти под нос Прокофий.

Бегушев взглянул на Тюменева.

– Тебя не стеснит этот господин? – отнесся он к нему.

– Нисколько.

– Прими! – сказал Бегушев Прокофию, а тот опять пошел медленно и неторопливо.

Янсутский в продолжение всего этого времени охорашивался и причесывался перед зеркалом.

– Пожалуйте-с! – разрешил ему Прокофий.

При входе в диванную Янсутский заметно был сконфужен, так что у него едва хватило духу поклониться первоначально хозяину, а не Тюменеву.

– Я воспользовался вашим позволением быть у вас! – проговорил он как-то жеманно.

– Очень рад вас видеть, – сказал ему вежливо Бегушев и затем проговорил Тюменеву: – Господин Янсутский!

Янсутский мгновенно же и очень низко поклонился тому, но руки не решился протянуть.

– Приятель мой Тюменев! – объявил ему Бегушев.

Тюменев при этом едва только кивнул головой, а руки тоже не двинул нисколько, и лицо его при этом выражало столько холодности и равнодушия, что Бегушеву даже сделалось немножко жаль Янсутского.

Уселись все.

Янсутский, впрочем, скоро овладел собой.

– Как ваше здоровье? – отнесся он к хозяину.

– Благодарю, здоров! Что сегодня: холодно? – проговорил Бегушев.

– Свежо! – отвечал Янсутский.

Тюменев сделал движение, которым явно показал, что он хочет говорить.

– Скажи, – обратился он прямо и исключительно к одному только Бегушеву, – правду ли говорят, что в Москве последние десять лет сделалось холоднее, чем было прежде?

– То есть как тебе сказать: переменчивее как-то погода стала, дуют какие-то беспрестанно глупые ветра, – проговорил тот.

– И действительно ли причина тому та, – продолжал Тюменев, – что по разным железным дорогам вырубают очень много лесов?

– Непременно эта причина! – подхватил Янсутский, очень довольный тем, что может вмешаться в разговор. – Леса, как известно, задерживают влагу, а влага умеряет тепло и холод, и при обилии ее в воздухе резких перемен обыкновенно не бывает.

– Истина совершеннейшая! – подтвердил Бегушев; в тоне его голоса слышался легкий оттенок насмешки, но Янсутский, кажется, не заметил того.

– Этого весьма печального, конечно, истребления лесов, может быть, со временем избегнут, – снова заговорил он. – В наше время наука делает столько открытий, что возможно всего ожидать!.. Вот взять, например, эту руку (Янсутский показал при этом на свою руку)... Когда она находится в покое, то венозная кровь, проходя чрез нее, сохраняет в себе семь с половиной процентов кислорода, но раз я ее двинул, привел в движение... (Янсутский в самом деле двинул рукой и сжал даже пальцы в кулак), то в ней уже не осталось ничего кислорода: он весь поглощен углеродом крови, а чтобы освободить снова углерод, нужна работа солнца; значит, моя работа есть результат работы солнца или, точнее сказать: это есть тоже работа солнца, перешедшая через известные там степени!..

Бегушев слушал Янсутского довольно внимательно и только держал голову потупленную; но Тюменев явно показывал, что он его не слушает: он поднимал лицо свое вверх, зевал и, наконец, взял в руки опять портрет Домны Осиповны и стал рассматривать его.

Янсутский между тем, видимо, разгорячился.

– В железнодорожном двигателе почти то же самое происходит, – говорил он, кинув мельком взгляд на этот портрет, – тут нужна теплота, чтобы превратить воду в пары; этого достигают, соединяя углерод дров с кислородом воздуха; но чтобы углерод был в дровах и находился в свободном состоянии, для этого нужна опять-таки работа солнца, поэтому нас и на пароходах и в вагонах везет тоже солнце. Теория эта довольно новая и, по-моему, весьма остроумная и справедливая.

– Не особенно новая, она у меня даже есть! Красненькая книжка этакая, перевод лекций Рейса⁹, семидесятого года, кажется! – произнес как бы совершенно невинным голосом Бегушев.

Янсутский немного смутился.

– Я не знаю, есть ли перевод, но я слушал это в германских университетах, когда года два тому назад ездил за границу и хотел несколько возобновить свои сведения в естественных науках.

– Все эти открытия, я думаю, для эксплуататоров не суть важны... – заметил Бегушев.

– О нет-с! Напротив, напротив! – воскликнул Янсутский. – Потому что, как говорят газеты, – справедливо ли это, я не знаю, – но сделано уже применение этой теории... Прямо собирают солнечные лучи в резервуар и ими пользуются.

– Но какой же результат этого будет? – спросил Бегушев.

– Тот, что удешевится перевозка! – подхватил Янсутский.

– А тариф останется все тот же? – продолжал Бегушев.

– Тариф, может быть, останется и тот же! – отвечал Янсутский и засмеялся.

– Да, вот с этой стороны я понимаю! – произнес Бегушев.

– Что же!.. – возразил ему Янсутский, пожимая плечами и некоторым тоном философа. – Таково свойство людей...

На этом месте Тюменев положил портрет в сторону и снова заявил желание говорить.

– Вероятно, на передвижении дороги, будь оно производимо дровами или прямо солнцем, многого не наживешь; но люди составили себе состояния, строя их! – отнесся он опять больше к Бегушеву.

– То есть, когда давали по полутора ста тысяч на версту, а она стоила всего пятьдесят... – заметил Бегушев.

– Ну, положим, что и побольше, – возразил Янсутский. – Я-с эти дела знаю очень хорошо: я был и производителем работ, и начальником дистанции, и подрядчиком, и директором, – в настоящее время нескольких компаний, – и вот, кладя руку на сердце, должен сказать, что точно: вначале эти дела были превосходные, но теперь этой конкуренцией они испорчены до последней степени.

– Напротив, я полагаю – поправлены несколько, – сказал Бегушев. – Нельзя же допускать, чтобы люди в какие-нибудь месяцы наживали себе миллионы, – это явление безнравственное!

– Я говорю испорчены – собственно в коммерческом смысле, – объяснил Янсутский. – Но, наконец, почему ж безнравственное явление? – присовокупил он, пожимая плечами. – Это потеря... счастье. Вы берете билет: у одного он попадает в тираж, другому выигрывает двадцать пять тысяч, а третьему двести тысяч.

– Но только в вашем деле это несколько повернее, на большее число благоприятных случаев рассчитано, если не целиком они одни только и взяты! – отнесся Тюменев на этот раз уже к Янсутскому.

– Никак этого, ваше превосходительство, невозможно сделать, – возразил тот самым почтительным тоном. – Извольте вы взять одни земляные работы. У вас гора, вам надобно ее скрыть или провести сквозь нее туннель; в верхних слоях, которые вы можете исследовать, она – или суглина, или супесок, а пошли внутрь – там кремень, а это разница огромная в стоимости!.. Болото теперь у вас на пути; вы в него, положим, рассчитали вбить две тысячи свай; а вам, может быть, придется вбить их двадцать тысяч. Потом-с цены на хлеб в прошлом году были одни, а нынче вдвое; на железо и кирпич тоже.

– Ну, – перебил его Тюменев, – на все это, я думаю, прикинуто довольно.

⁹ Рейс Филипп (1834–1874) – немецкий физик.

– Где ж прикинуто! Из чего, когда по сорок тысяч на версту берут! – воскликнул невеселым тоном Янсутский. – Я вот имею капиталы и опытность в этих делах, но решительно кидаю их, потому что добросовестно и честно при таких ценах выполнить этого дела невозможно; я лучше обращусь к другим каким-нибудь предприятиям.

На эти слова Янсутского собеседники его ничего не возразили, и только у обоих на лицах как бы написано было; «Мошенник ты, мошенник этакой, еще о честности и добросовестности говоришь; мало барышей попадает в твою ненасытную лапу, вот ты и отворачиваешь рыло от этих дел!»

– Я бы вот даже, – снова заговорил Янсутский, оборачиваясь к Тюменеву, – осмелился спросить ваше превосходительство, если это не будет большою нескромностью: то предприятие, по которому я имел смелость беспокоить вас, – как оно и в каком положении?

– Провалилось! – отвечал с явным удовольствием Тюменев.

Янсутский покраснел.

– Очень жаль, – сказал он с гримасой и пожимая плечами. – Но какая же причина тому?

– Очень оно фантастично, чересчур фиктивно! – отвечал с усмешкой Тюменев.

– На каких же данных такой взгляд на него мог установиться? – продолжал Янсутский.

– На самых точных данных, которые были собраны о нем, – отвечал ему Тюменев и обратился к Бегушеву: – В последний венский кризис... может, это и выдумка, но во всяком случае очень хорошо характеризующая время... Положим, можно изобрести предприятие на разработку какого-нибудь вещества, которого мало в известной местности находится... изобрести предприятие на разработку предмета, совершенно не существующего в этой местности, – но там открылось предприятие, утвержденное правительством, и акции которого превосходнейшим образом разошлись, в котором поименованной местности совсем не существовало на всем земном шаре; вот и ваше дело несколько в этом роде, – заключил он, относясь к Янсутскому.

– Я не думаю-с! – возразил тот с прежней гримасой в лице. – Я, впрочем, тут только денежным образом участвую, паи имею!

– Да, но паи могут быть проданы!.. Я говорю это не лично про вас, но бывают случаи, что люди, знающие хорошо подкладку дела, сейчас же продают свои паи и продают очень выгодно, а люди, не ведающие того, покупают их и потом плачутся, – проговорил насмешливо Тюменев.

– Нет-с, я не продал бы моих паев, я дело понимаю иначе, – сказал с достоинством Янсутский и затем обратился к Бегушеву: – А я было, Александр Иванович, приехал к вам попросить вас откушать ко мне; я, собственно, живу здесь несколько на бивуаках, но тут существуют прекрасные отели, можно недурно пообедать, – проговорил он заискивающим голосом.

Бегушев нахмурился.

– Но когда вам это угодно? – спросил он.

– В среду, в шесть часов, в Hotel de France. Я именинник, и хочется немножко отпраздновать этот день... будут некоторые мои знакомые и дамы, между прочим.

– Дамы? – переспросил Бегушев.

– Да! Вот эта madame Мерова, а потом наша общая с вами знакомая. Домна Осиповна Олухова, портрет которой я, кажется, и вижу у вас!.. – объяснил Янсутский, показывая глазами на портрет.

Бегушев при этом немного смутился и вместе с тем переглянулся с Тюменевым.

– Вы знакомы, значит, с Домной Осиповной? – спросил он.

– О боже мой, сколько лет! – воскликнул Янсутский. – Я начал знать ее с первых дней ее замужества и могу сказать, что это примерная женщина в наше время... идеал, если можно так выразиться...

– А что за господин ее муж? – спросил Бегушев.

Янсутский пожал плечами.

– Это купеческий сынок, человек очень добрый, который умеет только проматывать, но никак не наживать... Домна Осиповна столько от него страдала, столько перенесла, потому что каждоминуто видела и мотовство, и прочее все... Она цеплялась за все и употребляла все средства, чтобы как-нибудь сохранить и удержать свою семейную жизнь, но ничто не помогло.

Бегушев слушал Янсутского с каким-то мрачным вниманием.

– Без лести можно сказать, – продолжал тот с чувством, – не этакого бы человека любви была достойна эта женщина... Когда я ей сказал, что, может быть, будете и вы, она говорит: «Ах, я очень рада! Скажите Александру Ивановичу, чтобы он непременно приехал».

– Я буду-с, – произнес с тем же мрачным видом Бегушев.

– Ваше превосходительство, – отнесся уже к Тюменеву Янсутский и вставая при этом на ноги, – я осмелился бы покорнейше просить и вас посетить меня.

– Благодарю вас, но я в этот день думаю уехать из Москвы.

– Но день можно переменить; я именины могу раньше отпраздновать! – подхватил Янсутский.

– Ах, нет, пожалуйста, я вовсе не желаю вас так стеснять, – проговорил Тюменев, несколько сконфуженный и удивленный такою смешною угодливостью от человека, которому он сейчас только говорил колкости.

– Что за вздор: уедешь! – вмешался Бегушев. – Оставайся до четверга, и поедем!

– Ты желаешь этого? – спросил Тюменев.

– Очень; я тебя, кстати, познакомлю тут с Домной Осиповной, – отвечал Бегушев.

– Извольте-с, я буду! – обратился Тюменев к Янсутскому.

– Очень вам благодарен! – произнес тот действительно обрадованным голосом, а потом раскланялся и ушел.

– И это вот тоже герой дня, – хорош? – спросил с грустью Бегушев, разумея, конечно, Янсутского.

– Да, – подтвердил Тюменев, – но я сильно подозреваю, что Домну Осиповну он для тебя пригласил.

– Конечно!.. – воскликнул Бегушев. – Хотя, в сущности, он это удовольствие доставляет мне из-за тебя!

– Из-за меня? – спросил не без удивления Тюменев.

– Из-за тебя! Каждый раз, как ты у меня погостишь, несколько этаких каналов толстосумов являются ко мне для изъявления почтения и уважения. Хоть и либеральничают на словах, а хамы в душе, трепещут и благоговеют перед государственными сановниками!

– Трепещут? – спросил Тюменев, проникнутый тайным удовольствием.

– Сильно! – подтвердил Бегушев.

Глава V

В тот же день сводчик и ходатай по разного рода делам Григорий Мартынович Грохов сидел за письменным столом в своем грязном и темноватом кабинете, перед окнами которого вплоть до самого неба вытягивалась нештукатуренная, грязная каменная стена; а внизу на улице кричали, стучали и перебранивались беспрестанно едущие и везущие всевозможные товары ломовые извозчики. Это было в одном из переулков между Варваркой и Ильинкой.

Грохов был несколько слонообразной наружности, имел глаза, налитые кровью, губы толстые и отчасти воспаленные, цвет лица красноватый. Происходя из ничтожных сенатских писцов, Грохов ездил в настоящее время на рысках и имел, говорят, огромные деньги, что, впрочем, он тщательно скрывал, так что когда его видали иногда покупающим на бирже тысяч на сто – на полтораста бумаг и при этом спрашивали: «Что, это ваши деньги, Григорий Мартынович?» – он с сердцем отвечал: «Нет-с, порученные». Несмотря на свое адвокатское звание, Грохов редко являлся в суд, особенно новый; но вместе с тем, по общим слухам, вел дела крупные между купечеством и решал их больше сам, силою своего характера: возьмет, например, какое ни на есть дело, поедет сначала к противнику своему и напугает того; а если тот очень упрется, так Грохов пугнет клиента своего; затем возьмет с обоих деньги и помирит их. Председательствовал также Грохов во многих конкурсах, любил заведывать именем малолетних и хлопотал иногда для людей достаточных по делам бракоразводным. При такого рода значительной деятельности у Грохова была одна проруха: будучи человеком одиноким, он впадал иногда в загулы; ну, тогда и дела запускать, и деньжищев черт знает сколько просаживал, и крепкое здоровье свое отчасти колебал, да вдобавок еще страху какого-то дурацкого себе наживал недели на две. Настоящая минута для него была именно одною из таких минут; из всего вчерашнего дня, вечера и ночи Грохов только и помнил две голые женские ноги, и больше ничего! Может быть, он набуянил где-нибудь, избил кого-нибудь, убил, пожалуй, – ни за что не мог поручиться! Пот даже холодный прошибал при этих мыслях Грохова. Но дверь кабинета отворилась, и вошел письмоводитель его, в поношенном пальто, нечесаный, с опухшим лицом и тоже, должно быть, вчера бывший сильно пьян.

– Госпожа Олухова к вам приехала, – проговорил он совершенно охриплым голосом.

Грохов сделал над собою усилие, чтобы вспомнить, кто такая это была г-жа Олухова, что за дело у ней, и – странное явление: один только вчерашний вечер и ночь были закрыты для Григория Мартыныча непроницаемой завесой, но все прошедшее было совершенно ясно в его уме, так что он, встав, сейчас же нашел в шкафу бумаги с заголовком: «Дело г. г. Олуховых» и положил их на стол, отпер потом свою конторку и, вынув из нее толстый пакет с надписью: «Деньги г-жи Олуховой», положил и этот пакет на стол; затем поправил несколько перед зеркалом прическу свою и, пожевав, чтоб не так сильно пахнуть водкой, жженого кофе, нарочно для того в кармане носимого, опустился на свой деревянный стул и, обратясь к письмоводителю, разрешил ему принять приехавшую госпожу.

Вошла Домна Осиповна в бархатном платье со множеством цепочек на груди и дорогими кольцами на пальцах. В грязном кабинете Грохова Домна Осиповна казалась еще красивее.

– Честь и место! – сказал Грохов, стараясь улыбнуться и показывая на кресло против себя.

Домна Осиповна села. Она заметно была взволнована.

– Я вчера еще была у вас, – начала она.

– Знаю-с!.. Я вчера очень занят был, – перебил ее Грохов.

Чем он, собственно, занят был, мы отчасти знаем.

– Вы были в Петербурге? – продолжала Домна Осиповна.

– Как же-с! – отвечал было Грохов, но у него в это время страшно закружилась голова, а перед глазами только и мелькали две вчерашние женские ноги.

Домна Осиповна ожидала, что он будет что-нибудь далее говорить, но Грохов только в упор смотрел на нее, так что она даже покраснела немного.

– Что ж, муж эту бумагу, о которой я просила вас, дал вам? – сказала она.

– Выдал-с! – отвечал Грохов и, отыскав в деле Олуховых сказанную бумагу, подал ее Домне Осиповне и при этом дохнул на нее струею такого чистого спирта, что Домна Осиповна зажала даже немножко нос рукою. Бумагу она, впрочем, взяла и с начала до конца очень внимательно прочла ее и спросила:

– Что же, с этим видом я могу теперь везде свободно жить?

– Конечно-с!.. Без сомнения, – едва достало силы у Грохова ответить ей.

Ему все трудней и трудней становилось существовать; но вдруг... – таково было счастливое свойство его организма – вдруг он почувствовал легкую испарину, и голова его начала несколько освежаться.

– Очень можете-с, очень! – повторил он значительно оживленным голосом.

Домна Осиповна несколько мгновений как бы собиралась с мыслями.

– А насчет обеспечения меня, – проговорила она и при этом от волнения приложила дрожащий свой пальчик к губам, как бы желая кусать ноготь на нем.

– И это устроил-с! – отвечал Грохов; испарина все более и более у него увеличивалась, и голова становилась ясней. – Я сначала, как и вы тоже желали, сказал, что вы намерены приехать к нему и жить с ним.

– Интересно, как это он встретил, – заметила Домна Осиповна.

– Испугался очень!.. Точно я из пушки в него выстрелил! – отвечал Грохов.

Домна Осиповна вспыхнула вся в лице.

– Как лестно это слышать, – произнесла она.

– Кричит, знаете, этой госпоже своей, – продолжал Грохов, – «Глаша, Глаша, ко мне жена хочет воротиться...» Та прибежала, кричит тоже: «Это невозможно!.. Нельзя...» – «Позвольте, говорю, господа, закон не лишает Михаила Сергеича права потребовать к себе Домну Осиповну; но он также дает и ей право приехать к нему, когда ей угодно, тем более, что она ничем не обеспечена!» – «Как, говорит, не обеспечена: я ей дом подарил».

– Вот хорошо! – почти воскликнула Домна Осиповна. – Он мне дом подарил, когда я еще невестой его была.

– Ну, когда бы там ни было, но он все-таки подарил вам... – начал было Грохов, но при этом вдруг раскашлялся, принялся харкать, плевать; лицо у него побагровело еще больше, так что Домне Осиповне сделалось гадко и страшно за него.

– Это все госпожа его натолковывает ему, – проговорила она, когда Грохов позатих немного.

– Нет-с, ошибаетесь!.. Совершенно ошибаетесь, – возразил он, едва приходя в себя от трепки, которую задал ему его расхोлившийся катар. – Госпожа эта, напротив... когда он написал потом ко мне... О те, черт поганый, уняться не может! – воскликнул Грохов, относя слова эти к начавшему снова бить его кашлю. – И когда я передал ему вашу записку... что вы там желаете получить от него лавки, капитала пятьдесят тысяч... Ну те, дьявол, как мучит!.. – заключил Грохов, продолжая кашлять.

– Как, однако, вы простудились, – заметила ему с состраданием Домна Осиповна.

– Страшно простудился... ужасно!.. – говорил Грохов и затем едва собрался с силами, чтобы продолжать рассказ: – Супруг ваш опять было на дыбы, но она прикрикнула на него: «Неужели, говорит, вам деньги дороже меня, но я минуты с вами не останусь жить, если жена ваша вернется к вам»... О господи, совсем здоровье расклеилось...

И Грохов, как бы в отчаянии, схватил себя за голову.

– Это, я думаю, все от ваших усиленных занятий, – проговорила, по-прежнему с состраданием, Домна Осиповна. – Но что же, однако, муж мой выдал вам какой-нибудь документ? – поспешила она прибавить, потому что очень хорошо видела и понимала, как Грохову трудно было с ней вести объяснение, и даже почему именно было трудно.

– Выдал-с! Сейчас вот вам передам все: это вот-с купчая крепость на лавки, а это ваши деньги, – говорил он, пододвигая то и другое к Домне Осиповне.

Она купчую крепость тоже прочла весьма внимательно и начала потом считать деньги, раскладывая их сначала на сотни, а потом на тысячи.

– Тут всего тридцать тысяч! – произнесла она недоумевающим голосом.

– Тридцать-с! – ответил сначала очень коротко Грохов; но, видя, что Домна Осиповна все еще остается в недоумении, он присовокупил: – Все имущество я ценю в двести тысяч, хотя оно и больше стоит... десять процентов мне – значит, двадцать тысяч, а тридцать – вам!

Слова эти окончательно озадачили Домну Осиповну.

– Но десять процентов, кажется, берется, когда дело ведут! – произнесла она с какой-то перекошенной и злой улыбкой.

– А я разве не вел дела? – возразил ей Грохов. – Но кроме того, мы уговорились так с вами... У меня вашей руки письмо есть на то.

– Но я полагала, что дело дойдет до суда, – говорила с той же злой улыбкой Домна Осиповна.

– Ну, за это вы благодарите бога, что дело до суда не дошло, – произнес с ударением и тряхнув головой Грохов, – по суду бы супруг ваш шиш вам показал.

– Как же шиш... и как это деликатно с вашей стороны так выражаться! – сказала, вся вспыхнув, Домна Осиповна.

– Так, шиш! – повторил еще раз Грохов. – В законах действительно сказано, что мужья должны содержать своих жен, но каких? Не имеющих никакого своего имущества; а муж ваш прямо скажет, что у вас есть дом.

– Но дом я, – возразила Домна Осиповна с прежней неприятной улыбкой, – сейчас могу продать!

– А тогда он скажет, что у вас деньги есть.

– Деньги я тоже могу прожить, подарить, потерять...

Грохов усмехнулся при этом.

– Да, как же, обманешь кого-нибудь этими побасенками: нынешние судьи не слепо судят и прямо говорят, что они буквы закона держатся только в делах уголовных, а в гражданских, – так как надо же в чью-либо пользу решить, – допускают толкования и, конечно, в вашем деле в вашу пользу не растолковали бы, потому что вы еще заранее более чем обеспечены были от вашего мужа...

Всех этих слов Грохова Домна Осиповна и не слушала, а молча и с заметно недовольным лицом укладывала бумаги и деньги в карманы своего платья.

– Вы потрудитесь во всем этом дать мне расписочку, – сказал Грохов, пододвигая Домне Осиповне бумагу и перо.

– Что же я написать должна? – спросила та.

– Напишите-с, что документы и деньги, переданные мне вашим мужем, вы сполна получили, а я напишу, что следующие мне по делу сему деньги вами тоже уплочены!... – отвечал Грохов и написал, что говорил.

– Ну, не очень я деньги сполна получила, – говорила Домна Осиповна, начиная писать расписку.

– Не знаю-с, по-моему, вы сполна их получили, – сказал Грохов и на лице своем весьма ясно изобразил желание, чтобы клиентка его поскорее убиралась от него; но Домна Осиповна не поднималась с своего места.

– Но каких мне бумаг купить на эти деньги, решительно недоумеваю, – проговорила она, кусая свои розовые губки.

Грохов догадался, что этот вопрос был адресован к нему.

– Из бумаг вам лучше всего купить хмуринские акции, – отвечал он.

– Но они очень высоко стоят, – произнесла грустным голосом Домна Осиповна.

– На бирже их нечего и покупать, – там приступу нет, но нельзя ли вам как-нибудь их достать от самого господина Хмурина; дает, говорят, он некоторым знакомым по номинальной даже цене... Нет ли у вас человека, вхожего к нему?

Домна Осиповна некоторое время соображала.

– Янсутского разве попросить; он вчера был у меня, – сказала она, опять как бы больше сама с собой.

– Чего же лучше... Приятели, ни в чем не отказывают друг другу.

– Его попрошу!.. – продолжала Домна Осиповна тем же размышляющим голосом. – Но самые акции верны ли?

При этом вопросе Грохов даже рассмеялся.

– Вот еще!.. Верны ли акции... – произнес он.

Домна Осиповна, наконец, поднялась.

Грохов тоже встал с своего стула.

– До свиданья! – сказала она довольно сухо ему.

– До свиданья-с! – повторил и он ей, склоняя свою голову к столу и начиная внимательно смотреть на лежавшие на нем бумаги.

Домна Осиповна ушла.

Грохов после того опять сейчас же сел.

– Ну, барынька... выжига порядочная! – произнес он, утирая градом катившийся со лба пот; от всех этих объяснений с клиенткою похмелья у него как будто бы и не бывало.

* * *

От Грохова Домна Осиповна проехала в одну из банкирских контор. Там, в первой же со входа комнате, за проволочной решеткой, – точно птица какая, – сидел жид с сильными следами на лице и на руках проказы; несмотря на это, Домна Осиповна очень любезно поклонилась ему и даже протянула ему в маленькое отверстие решетки свою руку, которую жид, в свою очередь, с чувством и довольно сильно пожал.

– А я к вам денег еще привезла положить на чек, – сказала она веселым и развязным тоном.

– А и прекрасно, что привезли! – подхватил тоже весело жид.

Домна Осиповна положила перед ним на прилавок деньги и расчетную книжку.

Жид рассмотрел сначала книжку, пересчитал потом деньги и, положив их в ящик, произнес, стараясь приятно улыбнуться:

– К прежним пятидесяти тысячам вы кладете еще тридцать?

– Еще! – отвечала Домна Осиповна с той же веселой улыбкой; эти пятьдесят тысяч она скопила, когда еще жила с мужем и распоряжалась всем его хозяйством, о чем сей последний, конечно, не ведал.

– Но вот еще что... Вероятно, я скоро возьму у вас все свои деньги, – прибавила Домна Осиповна жиду.

Тот почтительно склонил перед ней свою голову.

– О, когда только вам угодно будет! – произнес он, придав своим глазам какое-то даже сентиментальное выражение, а затем, написав в книжке, что нужно было, передал ее с некоторою ловкостью Домне Осиповне.

Та, взглянув на написанную в книжке цифру денег, поблагодарила жида наиприятнейшей улыбкой.

– Скажите, – начала она, приближая уже почти к самой решетке свое лицо и весьма негромким голосом, – хмуринские акции верны или нет?

– Как то, что завтра солнце взойдет! – отвечал ей жид.

– Так верны? – переспросила Домна Осиповна.

– Так верны! – повторил жид.

– Mersi¹⁰, – сказала на это Домна Осиповна и, пожав еще раз пораженную проказой руку жида, ушла.

¹⁰ Благодарю (франц.).

Глава VI

Елизавета Николаевна Мерова, в широчайшем утреннем капоте, обшитом кругом кружевами и оборками, сидела на небольшом диванчике, вся утонув в него, так что только и видно было ее маленькое личико и ее маленькие обнаженные ручки, а остальное все как будто бы была кисея. Квартира Елизаветы Николаевны, весьма небольшая, в противоположность дому Домны Осиповны представляла в своем убранстве замечательное изящество и простоту; в ней ничего не было лишнего, а если что и было, так все очень красивое и, вероятно, очень дорогое. Квартира ее таким образом была убрана, конечно, на деньги Янсутского; но собственно вкус, руководствовавший всем этим убранством, принадлежал родителю Елизаветы Николаевны, графу Николаю Владимировичу Хвостикову, некогда блестящему камергеру, а теперь, как он сам даже про себя выражался, – аферисту и прожектеру.

Граф в это время сидел у дочери. Он был уже старик, но совершенно еще стройный, раздушенный, напмаженный, с бородой *a la Napoleon III* и в безукоризненно модной сюртучной паре.

– Как же, *chere amie*¹¹, ты это утверждаешь!.. – говорил он (даже в русской речи графа Хвостикова слышалось что-то французское). – Как женщина, ты не можешь даже этого понимать!..

– Я, может быть, и не понимаю; но Петр Евстигнейч говорит, что все это одна фантазия, вздор!.. – возразила ему Елизавета Николаевна.

– Как, вздор? – спросил граф и от досады переломил даже находящуюся у него в руках бисквиту и кусочки ее положил себе в рот: он только что перед тем пил с дочерью шоколад.

– Так, вздор, – повторила она. – Петр Евстигнейч говорит, что надобно сначала первое дело покончить.

– Но оно уже кончено... с неделю, как оно рассмотрено и разрешено... – сказал с уверенностью граф.

– А если кончено, так и прекрасно!.. А другое предприятие, Петр Евстигнейч говорит, надобно подождать...

– Для тебя, *chere amie*, каждое слово твоего Петра Евстигнейча... *Oh, diable*¹²... от одного отчества его язык переломишь!.. Тебе он, по твоим чувствам к нему, представляется богом каким-то, изрекающим одни непреложные истины, но другие, может быть, понимают его иначе!

Граф Хвостиков собственно сам и свел дочь с Янсутским, воспользовавшись ее ветреностью и тем, что она осталась вдовою, – и сделал это не по какому-нибудь свободному взгляду на сердечные отношения, а потому, что *c'est une affaire avantageuse* – предприятие не безвыгодное, а выгодными предприятиями граф в последнее время бредил.

– В сущности, твой Петр Евстигнейч кулак и привык только считать гроши! – присовокупил он вполголоса.

– Пожалуйста, папа, не говорите так, – остановила его дочь. – Я люблю этого человека и не позволю никому об нем дурно отзываться.

Говоря это, Елизавета Николаевна вся вспыхнула даже.

– Что ж, это семейный разговор был... – возразил было граф.

– А я и семейного разговора такого не желаю иметь, – подхватила дочь.

Граф замолчал.

Вскоре затем приехала Домна Осиповна. Елизавета Николаевна очень ей обрадовалась.

¹¹ дорогой друг (франц.).

¹² О, черт... (франц.).

– Ах, вот кто это! – воскликнула она, увидав входящую подругу, и, вскочив, как козочка, с дивана, бросилась обнимать ее.

Граф Хвостиков тоже сейчас встал и поклонился госте; при этом случае нельзя не заметить, что поклониться так вежливо и вместе с тем с таким сохранением собственного достоинства, как сделал это граф, вряд ли многие умели в Москве.

– Ты, однако, – начала Елизавета Николаевна, перестав, наконец, целовать Домну Осиповну, – опять в обновке, в бархатном платье!

– Да, я с болезнью моею и поездкою за границу так истрепала мой туалет, что решительно теперь весь возобновляю его!.. – отвечала та не без важности.

– Постой, постой! – останавливала между тем Мерова приятельницу, не давая ей садиться и осматривая ее с головы до ног. – Но знаешь, *ma chère*¹³, платье это тяжело на тебе сидит.

– Я не нахожу этого, – отвечала Домна Осиповна, не совсем, видимо, довольная этим замечанием.

– Тяжело, – повторила Мерова, – не правда ли, папа? – отнеслась она к отцу.

Граф Хвостиков лукаво усмехнулся.

– «В мои ль лета свое суждение иметь!»¹⁴ – произнес он уклончиво.

– Как вы ни молоды, граф, но все-таки, я полагаю, свое мнение вы можете иметь! – отнеслась к нему с улыбкою Домна Осиповна. – Скажите, тяжело это платье?

– *Pardon, madame, je ne comprends pas ce que cela signifie*¹⁵: тяжело! Тяжело только то, что трудно поднять, но вам, я надеюсь, не тяжело носить ваше платье, а приятно.

Граф хотел этим что-то такое сострить.

– Даже очень приятно, оно такое теплое, в нем так уютно, – подтвердила Домна Осиповна.

– Но оно не платье, *chère amie*, – силилась доказать Мерова, – а драпировка какая-то.

– Хорошо сказано, хорошо!.. О, ты дочь, достойная меня! – подхватил граф (он еще смолodu старался слыть за остряка, и даже теперь в обществе называли его «тупым шилом»).

– Поэтому вы, – отнесся он к Домне Осиповне, – прекрасная дорическая колонна, а платье ваше драпри... *Vous êtes une dame aux draperies!*¹⁶

– Не знаю... Я что-то колонн в драпировках не видала, – произнесла та, несколько уже обидевшись и сядя на кресло.

Граф Хвостиков тоже сел.

– Ну что, пустяки – колонна!.. – подхватила Мерова, также усаживаясь около приятельницы. – Я убеждена, – продолжала она, – что это тебе, по обыкновению, шила твоя Дарья Петровна.

– Конечно, Дарья Петровна, которая никак не хуже шьет твоей *madame* Минангуа, и разница вся в том, что та вдвое берет за фасон и вдвое материи требует, – возразила Домна Осиповна.

– Как же это возможно! – произнесла почти с плачем в голосе Мерова. – Папа, разве правда это? – обратилась она опять к отцу.

– Я не знаю фасонов *madame* Минангуа; но в окнах у ней я только видал прелестные цветки, – отвечал граф.

– А разве она делает цветы? – спросила Домна Осиповна.

– Нет, он все глупости говорит: засматривался там на хорошеньких мастериц! – перебила с досадой Мерова и снова обратилась к главному предмету, ее занимающему: – Ты спрашива-

¹³ моя дорогая (франц.).

¹⁴ «В мои ль лета свое суждение иметь!». – Граф Хвостиков перефразирует здесь реплику Молчалина из «Горя от ума» (явление 3, действие III): В мои лета не должно сметь свое суждение иметь.

¹⁵ Извините, мадам, я не понимаю, что это значит (франц.).

¹⁶ Вы – дама в драпировке! (франц.).

ешь, отчего тяжело, но зачем такие широкие складки? – сказала она, показывая на одну из складок на платье Домны Осиповны.

Та пожала при этом плечами.

– Ты, значит, не видала последних фасонов; есть у тебя какой-нибудь модный журнал? – спросила она.

– Два даже! – воскликнула Мерова и, проворно сходяв, принесла оба журнала.

– Смотри: узенькая это складка или широкая? – говорила Домна Осиповна, показывая с торжеством на одну из картинок.

М-ме Мерова вспыхнула при этом: она чувствовала себя прямо уличенною.

– Знаю я это! Но пусть на картинках это так и будет; носить же и надевать на себя такое платье я никогда бы не хотела, – произнесла она капризным голосом.

– погоди, – остановила ее Домна Осиповна, – а этот капот, который на тебе, разве не так же сделан?

– Да что капот! Ей-богу, как ты говоришь? – почти выходила из себя Мерова. – Это глупая какая-то блуза, которую мне шила белошвейка.

– Attendez, mesdames¹⁷, я вас помирю!.. – сказал, поднимая знаменательно свою руку, граф Хвостиков. – Каждая из вас любит то, что требует ее наружность!.. Madame Олухова брюнетка, к ней идет всякий блеск, всякий яркий цвет, а Лиза – существо эфира: ей надобно небо я легко облегающий газ!..

– Да, если это так, то конечно!.. – согласилась с ним Домна Осиповна, но дочь – нет и продолжала отрицательно качать своею головою.

В это время слышались звуки сабли.

– Петр Евстигнеевич, кажется, – проговорил граф Хвостиков.

Мерова заботливо взглянула на дверь.

Вошел действительно Янсутский, приехавший прямо от Бегушева и бывший очень не в духе. Несмотря на то, что Тюменев и Бегушев дали слово у него отобедать, он инстинктивно чувствовал, что они весьма невысоко его третировали и почти что подсмеивались над ним, тогда как сам Янсутский, вследствие нахапанных всякого рода проделками денег, считал себя чуть не гениальным человеком.

Войдя в комнату, он к первой обратился Домне Осиповне.

– Очень рад, что я вас здесь застал, – сказал он, крепко пожимая ей руку.

– И я отчасти потому приехала, что надеялась встретить вас здесь, – сказала она.

Янсутский затем мотнул головой Меровой и ее папа, снял саблю и сел. Елизавета Николаевна пристально посмотрела на него.

– Что вы такой сегодня, – фу, точно кот Васька, сердитый? – спросила она его.

– Нисколько не сердитый, – отвечал ей небрежно Янсутский и снова отнесся к Домне Осиповне: – Бегушев будет у меня обедать.

– Будет? – повторила та с удовольствием.

– Будет! – отвечал Янсутский и обратился уже к графу Хвостикову: – У Бегушева я встретил Тюменева; может, вы знаете его?

– О, боже мой! Это один из лучших моих знакомых! – произнес граф, поднимая при этом немного глаза вверх.

– И он мне сказал, что наше предприятие действительно рассматривалось, но что оно провалилось окончательно.

Граф Хвостиков при этом побледнел.

– Что такое провалилось? – спросил он, как бы не поняв этой фразы.

¹⁷ Подождите, сударыни (франц.).

– А то провалилось, что не утверждено, – отвечал ему насмешливо и со злостью Янсутский.

– Вот видишь, папа, как ты всегда говоришь! – сказала также и дочь графу, погрозя ему укоризненно пальчиком. – Верно все... решено... кончено!

– Но мне писали об этом! – бормотал граф, совсем, как видно, опешенный.

– Не знаю-с, кто вам это писал, – возразил ему с явным презрением Янсутский, – но оно никогда не было, да и не могло быть решено в нашу пользу. Нельзя же в самом деле ожидать, чтобы позволили на воздухе строить дом.

– Где ж на воздухе, – продолжал кротким голосом граф, – разве «Credit mobilier»¹⁸ – не то же самое?

– Вот еще что выдумали: «Credit mobilier»! – воскликнул насмешливо Янсутский. – Предприятие, черт знает когда существовавшее, и где же? В Париже! При содействии императора, – и то лопнувшее – хорош пример! Я просто сгорел от стыда, когда Тюменев стал расписывать Бегушеву это наше дурацкое дело!

Граф на это ничего уж и не возражал.

Дочери, кажется, сделалось жаль его.

– Хотите завтракать?.. – спросила она Янсутского, зная по опыту, что когда он поест, так бывает добрее.

– Нет, не хочу!.. – отвечал отрывисто Янсутский (надменный вид Тюменева никак не мог выйти из его головы). – А у меня еще гость будет – этот Тюменев, – присовокупил он.

– Ах, это отлично! Мне очень хочется посмотреть на него! – воскликнула Мерова. – Что он такое: генерал-адъютант?..

– То есть, пожалуй, генерал-адъютант, штатский только: он статс-секретарь! – отвечал не без важности Янсутский. – Я, собственно, позвал этого господина, – отнесся он как бы больше к графу, – затем, что он хоть и надутая этакая скотина, но все-таки держаться к таким людям поближе не мешает.

– О, без сомнения! – подтвердил тот невеселым голосом.

Положение графа было очень нехорошее: если бы изобретенное им предприятие было утверждено, то он все-таки несколько надеялся втянуть Янсутского в новую аферу и таким образом, заинтересовав его в двух больших делах, имел некоторое нравственное право занимать у него деньги, что было необходимо для графа, так как своих доходов он ниоткуда не получал никаких и в настоящее время, например, у него было в кармане всего только три целковых; а ему сегодняшним вечером нужно было приготовить по крайней мере рублей сто для одной своей любвишки: несмотря на свои 60 лет, граф сильно еще занимался всякого рода любвишками. Но где взять эти сто рублей!.. Не у Янсутского же просить займы после всех дерзостей, которые он позволил себе сказать: граф все-таки до некоторой степени считал себя джентльменом.

– Этот Тюменев очень много рассказывал интересных вещей, – снова начал Янсутский.

Граф Хвостиков при этом взглянул на него.

– А именно? – спросил он.

– Да разные там разности! – отвечал Янсутский. – О некоторых переменах, предполагаемых в министерстве... о своих беседах с разными высокопоставленными лицами... об их взглядах на Россию! (Но более точным образом определить, что ему рассказывал Тюменев, Янсутский не мог вдруг придумать: как человек практический, он владел весьма слабым

¹⁸ Credit mobilier (точнее Societe generale du credit mobilier) – крупный французский акционерный банк (1852–1871), широко занимавшийся рискованными спекулятивными аферами; руководители его были связаны с императором Наполеоном III.

воображением.) В такие откровенности пустился, что боже упаси!.. Понравился, видно, я ему очень! – заключил он, вставая и беря свою саблю.

– А мне еще, Петр Евстигнейч, надобно с вами два слова сказать!.. – проговорила при этом Домна Осиповна.

– Ваш слуга покорный! – отвечал ей Янсутский.

– Но только по секрету!.. – присовокупила Домна Осиповна.

– И по секрету могу! – подхватил Янсутский.

Они оба пошли.

– Вы не ревнуете? – спросила Домна Осиповна, оборачиваясь к Меровой.

– Немножко ревную! – отвечала та.

В следующей комнате Домна Осиповна и Янсутский сели.

– Послушайте, – начала она заискивающим голосом, – у меня есть теперь свободные деньги... Я бы желала на них приобрести акции Хмурина – где бы мне их достать?

– На бирже сколько угодно.

– Да, но на бирже они дороже своей цены...

– Еще бы!.. И главное, что с каждым днем поднимаются и будут еще подниматься.

– Вы думаете? – проговорила Домна Осиповна, и глаза ее при этом блеснули каким-то особенным блеском.

– Уверен в том!.. А на какую сумму вам нужно этих акций?

– Я еще этого не определила точно! – отвечала уклончиво Домна Осиповна. – Акции Хмурина, конечно, теперь очень хорошо стоят, но они могут и понизиться, все-таки это риск!.. У Хмурина, говорят, много еще их на руках, и он их дает некоторым знакомым по номинальной цене.

– Кому же он дает?.. Лицам, от которых сам в зависимости. Впрочем, Хмурин будет у меня на обеде... Попробуйте, скажите ему об этом! – проговорил Янсутский. – Он нежен с дамами.

– Нежен? – спросила, усмехнувшись, Домна Осиповна.

– Очень даже. Вы сначала, будто шутя, попросите у него, а потом и серьезно скажите.

– Понимаю; но и вы словечко замолвите ему с своей стороны; он, говорят, вам ни в одной просьбе не отказывает!..

Янсутский пожал плечами.

– Пока еще не отказывал ни в чем; извольте, я ему скажу!

– Пожалуйста!

У графа Хвостикова в это время тоже шел об деньгах разговор с дочерью.

– У тебя нет рублей двухсот – трехсот?.. – спросил он будто случайно и совершенно небрежным тоном.

– Нет, папа, на вот, хоть возьми ключ и посмотри сам! – отвечала та совершенно, как видно, искренно.

Граф некоторое время переминался.

– А этак заложить мне что-нибудь не можешь ли дать?

– Ни за что, папа!.. Ни за что!.. – воскликнула, точно даже испуганная этой просьбой, Мерова. – Петр Евстигнейч и за браслет тогда меня бранил очень, бранил и тебя также.

– Как же он меня бранил? – имел неосторожность спросить Хвостиков.

– Просто подлецом тебя называл, – объяснила откровенно дочь.

Янсутский и Домна Осиповна возвратились и вскоре затем оба уехали, а граф Хвостиков, желая сберечь свои единственные три рубля, как ни скучно ему это было, остался у дочери обедать.

Глава VII

Петр Евстигнеевич Янсутский в день именин своих, часов еще в десять утра, приехал в один из очень дорогих отелей и объявил там, что он человекам восьми желает дать обед; потом, заказав самый обед, выбрал для него лучшее отделение отеля и распорядился, чтобы тут сейчас же начали накрывать на стол. Затем он съездил, привез и собственными руками внес в избранное им отделение монстры-ананасы, которые, когда уложили их на вазы, доставали своею зеленью чуть не до потолка. Янсутский остался этим очень доволен; но зато в ужас пришел, когда увидел приготовленные для обеда канделябры, – ни дать ни взять какие бывают на похоронных обедах. Он немедленно приказал их взять к черту, послал в магазин и велел оттуда принести прежде еще им виденные там четыре очень дорогие, из белой бронзы, многосвечные шандалы и купил их – с тем, чтобы после отпразднования они были отправлены к m-me Меровой. По случаю пыли на драпировке, коврах и на мебели у него вышла целая история с хозяином отеля. Янсутский требовал, чтобы позвали обойщика и все бы это выбили, вычистили. Хозяин-француз, с своей стороны, уверял, что у него все выбито, чисто; а Янсутский кричал, что у него все не чисто. Француз вспыхнул от гнева, и только надежда получить с господина полковника порядочный барыш удержала его в границах приличия, и он даже велел все исполнить по желанию Янсутского, который потом прямо из отеля поскакал к Меровой. Он застал ее чуть не в одном белье, раскричался на нее жесточайшим образом за то, что она накануне, на каком-то дурацком вечере, просидела часов до пяти и теперь была с измятой, как тряпка, кожей, тогда как Янсутский никогда в такой степени не желал, как сегодня, чтобы она была хороша собою.

* * *

Домна Осиповна, в свою очередь, тоже немало хлопотала по случаю предстоящего обеда. Она еще заранее сказала Бегушеву, что хочет приехать на обед с ним вместе и даже в его экипаже. Бегушева несколько удивило это.

– Но ловко ли будет? – спросил он.

– Очень ловко!.. Я с сегодняшнего дня вовсе не намерена скрывать наших отношений, – пояснила Домна Осиповна.

Мы знаем, что она перед тем только покончила с мужем все дела свои.

Бегушев промолчал, но в сущности такое ее намерение ему не понравилось. По его понятиям, женщине не стараться скрывать подобных отношений не следовало, потому что это показывало в ней некоторое отсутствие стыдливости.

– И, пожалуйста, заезжайте за мной в вашем новом фаэтоне и на ваших вороных лошадях, а не на противных гнедых! – дополнила Домна Осиповна.

– Но вороные, – возразил было Бегушев, – ужасно резвы: на них того и гляди или себе голову сломишь, или задавишь кого-нибудь. Я хочу велеть их продать.

– Не смейте этого и думать! – почти прикрикнула на него Домна Осиповна. – Я обожаю этих лошадей, и на них извольте заехать за мной.

Бегушеву и это желание ее показалось довольно странным.

В самый день обеда Домна Осиповна с двенадцати часов затворилась в своей уборной и стала себе «делать лицо». Для этого она прежде всего попритерлась несколько, а затем начала себе закопченной шпилькой выводить линии на веках; потом насурмила себе несколько брови, сгладила их и подкрасила розовой помадой свои губы. «Сделав лицо», Домна Осиповна принялась причесываться, что сопровождалось почти драматическими сценами. Парикмахер, как видно не совсем искусный, делал по-своему, а Домна Осиповна требовала, чтобы он переде-

лывал по ее. Парикмахер переделывал, но все-таки выходило не так. Домна Осиповна сердилась, кричала, плакала и, наконец, прогнала парикмахера, велев, впрочем, ему дожидаться в передней. Оставшись одна, она, для успокоения нерв, несколько времени ходила по комнате; а потом, снова подправив себе лицо, позвала опять парикмахера и с ним, наконец, общими силами устроила себе прическу, которая вышла как-то вся на сторону; но это-то больше всего и нравилось Домне Осиповне: она видела в этом выражение какого-то удалства – качество, которое в последнее время стало нравиться некоторым дамам. Платье Домна Осиповна надела ярко-зеленое со множеством дорогих вещей.

Когда Бегушев заехал за ней и увидел ее в полном наряде, то не мог удержаться и произнес:

– Что это какие вы сегодня зеленые!

– Это самый модный цвет! – объяснила ему Домна Осиповна.

Бегушев невольно потупился: всю молодость свою провел он в свете, кроме того, родился, вырос в очень достаточном семействе, но таких ярких цветов на платьях дам что-то не помнил. Впрочем, он и это явление отнес, по своей привычке, к бездарности века, не умеющего даже придумать хоть сколько-нибудь сносный туалет для дам.

Сев в фаятон с Бегушевым, Домна Осиповна сказала кучеру:

– Пожалуйста, поскорей!

Тот, желая ей угодить, понесся на всех рысях, так что на первых порах Бегушев едва опомнился и только на Тверской взглянул на Домну Осиповну. Он в первый еще раз видел ее разряженною и едущею в щегольском экипаже. Полученное им на этот раз впечатление было окончательно неприятное. На Домне Осиповне оказалась высокая шляпка с каким-то глупо болтающимся сверху цветком. Сама Домна Осиповна сидела с неописанной важностью, закинув ногу на ногу, и вместе с тем она с явным презрением смотрела на всех, идущих пешком. Бегушев, весь свой век ездивший в экипажах, подозревать даже не мог переживаемого в настоящие минуты удовольствия его дамою, далеко не пользовавшеюся в молодости довольством средств.

В отеле, между тем, m-me Мерова сидела в качестве хозяйки в маленькой гостиной взятого отделения, а Янсутский в полной мундирной форме ртом и мехами раздувал уголья в находящемся тут камине, чтобы скорее они разгорелись и дали из себя приятную теплоту.

Приехали Домна Осиповна и Бегушев.

– А Тюменев что же... не будет? – спросил последнего Янсутский с беспокойством.

– Не знаю; вероятно, приедет, – отвечал тот ему довольно сухо.

Дамы, как водится, увидав друг друга, издали легкие восклицания, поцеловались и, с быстротой молнии осмотрев друг на друге туалеты, уселись.

Домна Осиповна нашла, что m-me Мерова, бывшая в платье из серого фая с высоким лифом, слишком бедно оделась для такого парадного случая; а Меровой, напротив, показалось, что Домна Осиповна чересчур разрядилась. Мыслей этих они, конечно, не высказали.

– Как здесь мило и уютно, – начала разговор первая Домна Осиповна.

– Очень мило! – подхватил Янсутский.

Бегушев, усевшийся несколько в стороне, у окна, тоже окинул глазами комнату и решительно не понимал, что в ней было милого.

– А как красиво сервирован стол! – продолжал Янсутский, показывая Домне Осиповне на накрытый в зале стол.

Она, чтобы рассмотреть хорошенько, надела даже пенсне и с своей стороны подтвердила:

– Очень хорошо.

M-me Мерова в это время вскидывала на мгновение свои глазки на Бегушева. Она тоже, кажется, подобно ему, не находила ничего особенно красивого и милого в трактирном убранстве.

Явился граф Хвостиков в черном фраке и белом галстуке.

– Боже мой, сколько лет не видались! – воскликнул было он, растопыривая перед Бегушевым руки и как бы желая заключить его в свои объятия.

Но тот, однако, не пошевелился с своего места и проговорил только:

– Здравствуйте!

– Каждый день я к вам собирался, каждый день! – продолжал Хвостиков.

Бегушев и на это промолчал.

Граф, поняв, что ему тут ничего не вытанцевать, расшаркался перед дамами.

– Je vous salue mesdames¹⁹, – и, сейчас же усевшись на кресле, рядом с Домной Осиповной, начал отдуваться. По решительному отсутствию денег, граф издалика пришел пешком.

– Вы устали? – спросила его Домна Осиповна.

– Сидя около вас, я не могу сказать, что я у стали; скорей, я у золота, – отвечал он.

Домна Осиповна поняла его остроту и искренне засмеялась.

Бегушев при этом нахмурился.

Граф между тем устремил свой взгляд вдаль.

– Однако я так проголодался, что попрошу у тебя позволения выпить рюмку водки и съесть что-нибудь, – проговорил он Янсутскому и, встав, прямо отправился в залу к разнообразнейшей закуске, приготовленной там на особом довольно большом столе.

Янсутский принялся внимательно следить за ним.

Граф съел икры, семги, рыбок разных, омаров маринованных, так что Янсутский не выдержал и, подойдя к нему, тихо, но со злостью сказал:

– Пожалуйста, не портите все тарелки, а с которых возьмете, – велите, по крайней мере, переменить их на свежие!

Графа смутило несколько такое замечание.

– Je comprends, mon cher!²⁰ – отвечал он тоже негромко и вместе с тем продолжая есть, а потом, накушавшись, строго приказал лакею пять разоренных тарелок переменить на новые; накануне Хвостикову удалось только в целый день три раза пить кофе: ни на обед, ни на ужин он не попал ни к одному из своих знакомых!

– А я теперь был у Хмурина; у него Офонькин; они сейчас сюда приедут, – сказал граф Янсутскому, возвращаясь в гостиную.

– Знаю это я! – отвечал тот ему небрежным тоном.

Вошедший быстро лакей доложил, что приехал Тюменев. Янсутский опрометью бросился в коридор. Он заранее еще распорядился, чтобы его немедленно известили о прибытии Тюменева.

– Здесь, ваше превосходительство, сюда пожалуйста! – говорил он, раболепно встречая почетного гостя и вводя его в свое отделение.

Тюменев был в трех звездах.

– Не узнаете? – спросил его тотчас же граф Хвостиков, останавливаясь перед ним.

Тюменев изобразил на лице своем некоторое недоумение.

– Граф Хвостиков, – объяснил ему тот.

– А! – произнес довольно вежливо Тюменев, протягивая ему руку.

– Мы всю молодость, если вы помните, провели с вами в одном кругу!.. – продолжал Хвостиков.

– Да, но вы были тогда такой лев Петербурга, – сказал Тюменев.

– Зато теперь вы лев! – подхватил Хвостиков, показывая на звезды Тюменева.

– Какой я лев, – скромно возразил тот, но вряд ли, впрочем, в настоящие минуты не считал себя львом, потому что очень топорщился и поднимал голову как только мог высоко.

¹⁹ Приветствую вас, сударыни (франц.).

²⁰ Я понимаю, дорогой мой! (франц.).

Янсутский, сиявший удовольствием от посещения Тюменева, ввел его в гостиную и поспешил представить дамам, или, точнее сказать, поспешил дам представить ему.

Тюменев молча поклонился им и сел. С Бегушевым они кивнули друг другу головами.

В маленькой передней после того раздались снова голоса и смех вновь приехавших гостей. Янсутский тоже поспешно встретил их.

Вошел совсем русский купец, в скобку подстриженный, напмаженный, с расчесанною седою бородою и в длиннополом, из очень дорогого сукна, сюртуке. На вид он, как кажется, был очень низкопоклонлив. За ним следовал другой господин, уже во фраке и в весьма открытом жилете, из-под которого виднелось дорогое белье с брильянтовыми запонками, – господин с лицом корявым и с какою-то совершенно круглою головою, плотно посаженною в высокие, крепко накрахмаленные воротнички. В противоположность товарищу своему, он держал себя очень гордо; но Янсутский заметно встретил с большим почетом купца и его первого рекомендовал Тюменеву.

– Господин Хмурин! – сказал он.

– Знает меня его превосходительство! Знакомы мы тоже маненечко! – говорил Хмурин, низко и по-мужицки кланяясь Тюменеву, а вместе с тем, однако, протягивая ему руку, которую тот, с своей стороны, счел за нужное пожать.

– Господин Офонькин! – добавил Янсутский, показывая на господина во фраке, которому Тюменев только издала кивнул головой.

Офонькин тоже весьма немного наклонил свою голову вперед: он, вероятно, в некотором отношении был вольнодумец!

– Господин Хмурин, – объяснил Янсутский дамам.

Те любезно улыбнулись старику, который и им тоже низко и по-мужицки поклонился.

– Извините, сударыни, не умею, как дамам представляться и раскланиваться им, – сказал он и затем указал на своего товарища. – Вон Василий Иванович у нас... тоже, надо сказать, вместе мы с ним на шоссе воспитание получили... Ну, а ведь на камне да на щебне не много ловким манерам научишься, – так вот он недавно танцмейстера брал себе и теперь как есть настоящий кавалер, а я-с – как был земляник²¹, так и остался.

– Вы все шутите! – проговорил еще первое слово Василий Иванович и сразу обнаружил свое бердичевское происхождение.

– Не угодно ли вам будет присесть? – сказал Хмурину Янсутский.

– Благодарю вас покорно! – отвечал тот, и ему низко кланяясь; а потом хотел было сесть на одно из кресел, в котором, впрочем, вряд ли бы и уместился, но в это время поспешила встать с дивана Домна Осиповна.

– Не угодно ли вам лучше здесь сесть? – сказала она Хмурину.

Он сначала было растопырил руки.

– Нет, сударыня, извините, не могу этого...

– Очень можете, – перебила его Домна Осиповна, – вы человек пожилой, почтенный и непременно должны сидеть на диване.

Хмурин затем поклонился еще раз ей, сел и принял такую позу, которой явно показал, что он нисколько не стесняется и совершенно привык сидеть перед дамами, перед всякими статс-секретарями и даже руководствовать всей беседой.

– Сейчас я читал в газетах, – начал он совершенно развязно и свободно, между тем как друг его Офонькин делал над собой страшное усилие, чтобы занять все кресло, а не сидеть на краешке его, – читал в газетах, – продолжал Хмурин, – что, положим, там жена убила мужа и затем сама призналась в том, суд ее оправдал, а публика еще денег ей дала за то. Бывали ведь такие случаи, по старинной это выходит поговорке русской: «Милость на суде хвалится» –

²¹ Земляник – землекоп.

прекрасно-с, отлично!.. Читаю я далее-с: один там из моих подрядчиков, мужичонко глупый, выругал, что ли, повариху свою, которая про артель ему стряпала и говядины у него украла, не всю сварила, – повариха в обиду вошла и к мировому его, и господин мировой судья приговаривает мужика на десять дней в тюрьму. Значит, убивать можно, потому что еще денег за это дают, а побранить нельзя – наказывают; странно что-то!

– Это потому, – начал ему возражать Янсутский, – что поводом к убийству могут быть самые благородные побуждения; но мужчине оскорбить женщину – это подло и низко. В этом случае строгие наказания только и могут смягчать и цивилизовать нравы!

Хмурин склонил голову, чтобы внимательнее выслушать и лучше понять, что говорил Янсутский.

– Только это-с? – спросил он его каким-то плутовато-насмешливым голосом.

– Конечно! – подтвердил Янсутский. – Даже в наших предприятиях – вы, конечно, хорошо это знаете – ни подрядчики, ни мы сами в настоящее время не станем так строго обращаться с подчиненными, как это бывало прежде.

– Это отчего-с? Я нынче так же строго держу... еще строже даже!.. – возразил Хмурин.

– Поэтому вы рискуете быть наказанным, – заметил ему Янсутский.

– Да хоть бы двадцать раз меня наказывали!.. В нашем деле без строгости нельзя-с!

– Что ж, вы и терпели наказание? – спросил Хмурина Тюменев.

– Никак нет-с! – отвечал тот с усмешкой. – И терпеть даже никогда не буду, потому я богат... Ну, когда тоже очень этак не остережешься, призовешь после этого «пострадавшее лицо», как нынче их, окаянных, именуют, сунешь ему в зубы рублей тридцать – он же тебе в ноги поклонится.

– Ну, не всякий вам поклонится, извините! – возразил ему опять Янсутский.

– Не всякий? – повторил насмешливо Хмурин. – Я даже... не для огласки это будь молвлено... генерала было одного «оскорбил действием», – прибавил он, видимо, зная все юридические термины из новой судебной практики и сильно их не любя.

– Генерала? – спросил не без удивления Тюменев.

– Точно так-с! – ответил Хмурин. – Кирпичу я ему поручил для меня купить, тысяч на сто, а он тут и сплутовал сильно; я этого не стерпел, соскочил с пролеток, да с плетью за ним... «Ну, думаю, пропал совсем!..» А выходит, что на другой день он сам же пришел ко мне: добрый, значит, этаким уж человек, и до сей поры мы приятели!..

Говоря это, Хмурин все почему-то старался смотреть в окно, а граф Хвостиков тоже как-то глядел в совершенно противоположную сторону, и сильно можно было подозревать, что вряд ли эта история была не с ним.

– Сильвестр Кузьмич любит и выдумывать на себя, – отозвался вдруг Офонькин на своем бердичевском наречии.

– Пошто ж мне выдумывать?... Не выдумываю!.. – отвечал ему как бы совершенно равнодушным тоном Хмурин. – А говорю только к тому, что я суда мирового не боюсь.

– Прекрасно-с, но в этом случае вы вините общество, а не суд, – начал снова с ним препираться Янсутский. – В давешнем же споре нашем вы смешали два совершенно разные суда: один суд присяжных, которые считают себя вправе судить по совести и оправдывать, а в другом судит единичное лицо – судья.

– Позвольте-с! Позвольте! – перебил его Хмурин, как-то отстраняя даже рукою его доказательства. – Господину мировому судье закон тоже позволяет судить по совести – раз!.. Второе – коли убийцу какого-нибудь или вора судят присяжные, суди и драчуна присяжные: суд для всех должен быть одинакий!

– Я не нахожу существенной разницы в обоих этих судах, – вмешался в разговор Тюменев, – как тут, так и там судят лица, выбранные обществом.

Хмурин на это засмеялся.

– Ах, ваше превосходительство! – воскликнул он. – Изволите вы жить в Питере: видно, это очень высоко и далеко, и ничего вы не знаете, как на Руси дела делаются: разве одинако выбираются люди на места, на которых жалованья платят, или на места, где одна только страда и труд! На безденежное место тоже больше стараются упрятать человека маленького, смиренного, не горлопана; ну, а где деньгами пахнет, так там, извините, каждый ладит или сам сесть, а коли сам сесть не хочет, так посадит друга и приятеля, – а не то, чтобы думали: каков есть внутри себя человек. Вы мне про эти дела и выборы наши лучше не говорите – вот они где у меня, в сердце моем сидят и кровь мою сосут!..

И Хмурин при этом указал на себя в грудь.

– Так надо сказать-с, – продолжал он, явно разгорячившись, – тут кругом всего этого стена каменная построена: кто попал за нее и узнал тамошние порядки – ну и сиди, благоденствуй; сору только из избы не выноси да гляди на все сквозь пальцы; а уж свежего человека не пустят туда. Вот теперь про себя мне сказать: уроженец я какой бы то ни было там губернии; у меня нет ни роду, ни племени; человек я богатый, хотел бы, может, для своей родины невесть сколько добра сделать, но мне не позволят того!

– Как не позволят? – спросил Тюменев с удивлением.

– Не позволят-с! – продолжал Хмурин. – Потребуют – то прежде устрой, другое, где лапу запускать удобнее; а я – согрешил, грешный, – смолodu не привык по чужой дудке плясать, так и не делаю ничего!.. Словом, стена каменная кругом всего поставлена, а кто ее разобьет?.. Разве гром небесный!

– Сердится все за то, что его в головы не выбирают! – шепнул граф Хвостиков Офонькину.

– Да, – согласился тот, кинув на графа лукавый взгляд.

– И во всем этом нашем кругозоре, – развивал далее свою мысль Хмурин, – выходит, что немец – плут, купец – дурак али, правильнее сказать, прикидывается дураком, потому что ему около своих делов ходить выгоднее, а барин – бахвал или тоже плут!

– Отличное определение сословных элементов! – воскликнул при этом Бегушев, все время сидевший потупя голову и довольно внимательно прислушивавшийся к словам Хмурина.

– Верно-с определено! – подтвердил тот с своей стороны. – Хоть теперь тоже это дело (называть я его не буду, сами вы догадаетесь – какое): пишут они бумагу, по-ихнему очень умную, а по-нашему – очень глупую; шлют туда и заверяют потом, что там оскорбились, огорчились; а все это вздор – рассмеялись только... видят, что, – сказать это так, по-мужицки, – лезут парни к ставцу, когда их не звали к тому.

– Это совершенно справедливо! – подхватил Тюменев.

– Да как же, помилуйте? Я у вас же, у вашего превосходительства был вскоре после того. Вы меня спрашиваете: «Что это такое?», я говорю: «Публике маненечко хочет показать себя, авось, другой сдуру подумает: «Ах, моська, знать, сильна, коль лает на слона!» – как писал господин Крылов.

– Ну нет-с, я с этим решительно не согласен! – начал было Янсутский; но в это время к нему подошел лакей и доложил, что стерляжья уха разлита и подана.

Янсутский даже побледнел при этом.

– А что же свечи не засвечены? – спросил он почти с бешенством.

– Сейчас засвечу-с! – отвечал лакей, показывая ему имевшуюся у него в руках спичку.

– Прежде это надобно было сделать! – говорил Янсутский, выходя с лакеем в залу, где, выхватив у него спичку, зажег ее и приложил к серной нитке, проведенной через все свечи; такой способ зажигания Янсутский придумал для произведения большого эффекта, – и действительно, когда все свечи почти разом зажглись, то дамы даже легонько вскрикнули, а Хмурин потупил голову и произнес:

– Свет Христов просвещает всех!

Но Бегушев при этом не мог удержаться и презрительно засмеялся.

Янсутский между тем с довольным лицом возвратился в гостиную.

– Отличная вещь изобретена – это мгновенное освещение! – сказал он.

– Это ниткой особенной делается? – спросил его глубокомысленно Офонькин.

– Ниткой! Однако прошу покорно вести поскорее дам к столу; иначе простынет уха! – говорил Янсутский.

Тюменев сейчас же подал руку m-me Меровой; его уже предупредил Бегушев, в каких она находится отношениях с Янсутским, и, может быть, вследствие того на нее Тюменев довольно смело и весьма нежно взглядывал; но она, напротив, больше продолжала вскидывать весьма коротенькие взгляды на Бегушева. Граф Хвостиков хотел было вести Домну Осиповну, но она отстранила его и отнеслась к Хмуруну.

– А я с вами пойду, вы позволите мне это? – сказала она ему.

– Если вам угодно! – проговорил тот, складывая руку свою кренделем. – А я ведь, признаться, и не хаживал с дамами к столу.

– Ну, полноте, пожалуйста, не притворяйтесь, – возразила Домна Осиповна, засовывая свою руку в его руку.

– Право, не хаживал, – повторил лукаво Хмурин.

Глава VIII

За обедом уселись следующим образом: m-me Мерова на месте хозяйки, по правую руку ее Тюменев, а по левую Бегушев. Домна Осиповна села рядом с Хмуриным, а граф Хвостиков с Офонькиным. Сам Янсутский почти не садился и был в отчаянии, когда действительно уха оказалась несколько остывшею. Он каждого из гостей своих, глядя ему в рот, спрашивал:

– Холодна?.. Холодна?

– Напротив, уха как следует подана, – успокоил его, наконец, Тюменев.

– Вина теперь, господа, не угодно ли? – воскликнул вслед за тем Янсутский, показывая на бутылки с золотыми ярлыками. – Это мадера мальвуази. Для ухи ничего не может быть лучше... правда? – спросил он всех.

Все согласились, что правда.

– Вино-с это историю имеет!.. – произнес Янсутский, обращаясь более к Тюменеву. – Оно еще существовало, когда англичане брали Гибралтар. Как вы находите его? – заключил он, относясь уже к Бегушеву.

– Мадера недурна, – отвечал тот совершенно равнодушно.

– Очень хороша! – отозвался с своей стороны Офонькин.

– Она цельная и к цели прямо ведущая, – сострил граф Хвостиков.

– Отчего ж вы не угощаете вашего кавалера? – спросил Янсутский, подходя к Домне Осиповне и указывая ей на Хмурина.

– Ах, позвольте, я вам налью, – проговорила та, поспешно беря со стола бутылку и наливая из нее огромную рюмку для Хмурина.

Тот поблагодарил ее улыбкою. Бегушев при этом внимательно посмотрел на Домну Осиповну.

За ухой следовала говядина. Янсутский и тут начал приставать к своим гостям:

– Хороша? Хороша?

– Да, хороша!.. Полно юлить тебе! – сказал ему, наконец, Хмурин.

– Нельзя, братец, в расейских отелях того и гляди, что подадут страшную мерзость, – возразил Янсутский.

– Никогда не подадут, если деньги заплатишь хорошие, – заметил Хмурин и снова принужден был поклониться Домне Осиповне, потому что она опять подлила ему вина, которое Хмурин выпив пришел в заметно приятное настроение духа.

– А у меня еще просьба к вам, Сильвестр Кузьмич, – начала Домна Осиповна, усмехаясь несколько.

Хмурин при этом склонил к ней несколько голову свою.

– Видите что... Последнее время я все состояние перевела на деньги и теперь должна на них жить...

– Что ж, это дело хорошее! – подхватил Хмурин. – На деньги еще жить можно; вот без денег – так точно, что затруднительно, как примерно теперь графу Хвостикову, – шепнул он, кивнув головой на сего последнего. – Колький год тоже, сердешный, он мается этим.

– Но женщине и с деньгами затруднительно, – возразила Домна Осиповна. – Капитал, разумеется, прожить легко; но надобно стараться жить процентами.

– Это так-с, совершенно справедливо, – согласился Хмурин.

– Вина этого, конечно, вы выпьете! – переменила вдруг разговор Домна Осиповна, беря из рук Янсутского красное вино, по бутылке которого он раздавал каждому из гостей своих, пояснив, что это вино из садов герцога Бургундского.

Хмурин выпил налитый ему Домной Осиповной стакан и придал такое выражение своему лицу, которым показал, что он ее слушает.

– И я бы, вот видите, – продолжала она, – желала акций ваших приобрести по номинальной цене – тысяч на восемьдесят.

Голос ее при последних словах слегка дрогнул.

– По номинальной цене-с? – переспросил Хмурин.

– Да! – отвечала ему робко Домна Осиповна.

– Но их нет по номинальной цене, – сказал было Хмурин.

– Нет на бирже, но у вас они есть, – пояснила Домна Осиповна.

– У меня-то есть, – произнес протяжно Хмурин, – но мне их продавать по такой цене словно бы маненечко в убыток будет!

– Что вам?.. Что значит этот убыток – все равно что ничего!

– Ну, как-с ничего! Все деньги тоже, – продолжал Хмурин.

– Какие это для вас деньги? Вы сравните свое состояние и мое: у меня восемьдесят тысяч, а вы миллионер, я нищая против вас; кроме того, я женщина одинокая, у меня никого нет – ни помощников, ни советников.

– А супруг ваш где же? – перебил ее Хмурин.

– Я с мужем не живу; мы врозь с ним.

Хмурин выпучил глаза от удивления.

– Скажите, не слыхал я этого!

– Более уже года, – продолжала Домна Осиповна.

– Но что же за причина тому? – спросил Хмурин.

Домна Осиповна грустно усмехнулась.

– Не сошлись характерами, как говорят... Кутил он очень и других женщин любил, – проговорила она и вздохнула.

– Поди ты, какое дело! – произнес как бы с участием Хмурин. – Значит, ради сиротчества вашего надобно вам сделать уступочку эту! – присовокупил он, усмехаясь.

– Ради сиротчества моего мне уступите, – повторила Домна Осиповна тоже с улыбкою.

Хмурин еще раз усмехнулся.

– Только дело такое, сударыня, по номинальной цене я не могу вам продать, прямо выходит двадцать тысяч убытку; значит, разобьемте грех пополам: вы мне накиньте десяточек тысяч, и я вам уступлю десяток.

– Ни за что, ни за что! – полувоскликнула Домна Осиповна. – Я так решилась, чтобы непременно по номинальной цене!

– Что ж решились? – возразил опять усмехаясь и с некоторым даже удивлением Хмурин. – Мало ли на что человек решится, что ему выгодно.

– Нет, кроме того, серьезно, меня обстоятельства вынуждают к тому. Ваши бумаги сколько дают дивиденду?

– Прошлый год дали по пятнадцати рублей на акцию.

– Поэтому я всего буду получать двенадцать тысяч, а мне из них по крайней мере тысяч семь надобно отправить к мужу в Петербург...

– Разве у него своего ничего уж нет? – спросил Хмурин.

– Ни рубля!.. Ну, пожалуйста, добрый, почтенный Сильвестр Кузьмич, продайте! – упрашивала Домна Осиповна.

– Да дайте, по крайней мере, за восемьдесят-то – восемьдесят пять, – отвечал ей тот, продолжая усмехаться.

– Но у меня и денег таких нет – понимаете?

– Это что же, рассчитаем: не хитро.

– Нет, пожалуйста, умоляю вас, – перебила Хмурина Домна Осиповна.

Тот покачал головой.

– Делать нечего-с! – сказал он не совсем, кажется, довольным голосом. – Приезжайте завтра в контору.

– Можно? – спросила с нескрываемым восторгом Домна Осиповна.

– Приезжайте-с, – повторил еще раз Хмуриный.

– Merci! Я за это пью здоровье ваше! – продолжала Домна Осиповна и, чокнувшись с Хмуриным, выпила все до дна.

В продолжение всего этого разговора Бегушев глаз не спускал с Домны Осиповны. Он понять не мог, о чем она могла вести такую одушевленную и длинную беседу с этим жирным боровом.

Вскоре подали блюдо, наглухо закрытое салфеткой.

Янсутский сейчас же при этом встал с своего места.

– Это трюфели *a la serviette*²², – сказал он, подходя к Бегушеву, с которого лакей начал обносить блюдо.

Бегушев на это кивнул головой.

– Благодарю вас, я трюфели ем только как приправу, – проговорил он.

– Но в этом виде они в тысячу раз сильнее действуют... Понимаете?.. – воскликнул Янсутский.

Бегушев и на это отрицательно покачал головой.

Янсутский наклонился и шепнул ему на ухо:

– Насчет любви они очень помогают!.. Пожалуйста, возьмите!

– Нет-с, я решительно не могу их в этом виде есть! – сказал Бегушев.

Янсутский, делать нечего, перешел к Тюменеву.

– Надеюсь, ваше превосходительство, что вы по крайней мере скушаете, – проговорил он. – Насчет любви они помогают! – присовокупил он и тому на ухо.

– Будто? – произнес Тюменев.

– Отлично помогают! – повторил Янсутский.

Тюменев взял две-три штучки.

– Et vous, madame?²³ – обратился он к Меровой.

– Елизавете Николаевне мы сейчас положим, – подхватил Янсутский и положил ей несколько трюфелей на тарелку.

– Но я не хочу столько, куда же мне?.. – воскликнула та.

– Извольте все скушать! – почти приказал ей Янсутский.

– Трюфели, говорит господин Янсутский, возбуждают желание любви, – сказал m-me Меровой Тюменев, устремляя на нее масляный взгляд.

– Каким же это образом? – спросила она равнодушно.

– То есть – вероятно действуют на нашу кровь, на наше воображение, – старался ей растолковать Тюменев.

– А, вот что! – произнесла Мерова.

– Что ж вы так мало скушали?.. Стало быть, вы не желаете исполниться желанием любви? – приставал к ней Тюменев.

– Нисколько! – отвечала Мерова.

– Почему же?.. Может быть потому, что сердце ваше и без того полно этой любовью?

– Может быть! – проговорила Мерова.

– Интересно знать, кто этот счастливiec, поселивший в вас это чувство? – спросил Тюменев, хотя очень хорошо знал, кто этот был счастливiec.

– Ах, этот счастливiec далеко теперь, – сказала с притворным вздохом m-me Мерова.

²² в салфетке (франц.).

²³ А вы, сударыня? (франц.).

– Где ж именно? – полюбопытствовал Тюменев.

– Да на том свете или в Японии. Что дальше?

– Тот свет, полагаю, дальше.

– Ну, так он на том свете.

– Трюфели-с! Трюфели! – говорил в это время Янсутский, идя за лакеем, подававшим это блюдо Хмуруну.

– Отворачивайте, батюшка! Идите с богом!.. Стану я эти поганки есть!.. – отозвался гость.

Янсутский обратился к Офонькину.

– Voulez vous?²⁴ – сказал он.

– Oui²⁵, – отвечал тот тоже по-французски.

– А вам, конечно, все остальное? – спросил Янсутский графа Хвостикова.

– Но не отсталое, заметь!.. – сострил, по обыкновению, граф Хвостиков.

Лакей поставил перед ним все блюдо. Граф принялся с жадностью есть. Он, собственно, и научил заказать это блюдо Янсутского, который сколько ни презирал Хвостикова, но в гастрономический его вкус и сведения верил.

Домна Осиповна между тем все продолжала любезничать с Хмуриным, и у них шел даже довольно задушевный разговор.

– Я супруга вашего еще в рубашечке знал... У дедушки своего сибиряка он воспитывался, – говорил Хмурин.

– А вы и дедушку, значит, знаете? – спросила довольно стремительно Домна Осиповна.

– Господи, приятели исстари... старик знатный... самодуроват только больно!

– Это есть немножко! – подхватила Домна Осиповна.

– Какое немножко!.. В Сибири-то живет – привык, словно медведь в лесу, по пословице: «Гнет дуги – не парит, ломает – не тужит...» Вашему, должно быть, супругу от него все наследство пойдет? – спросил Хмурин.

– Вероятно ему, он самый ближайший наследник его... Впрочем, ему и этого состояния ненадолго хватит.

– Чтой-то этакой-то уймы... Вам уж надобно его попридержать!

– Как же я могу попридержать его, когда я не живу с ним, – возразила с грустной улыбкою Домна Осиповна.

– Сойдетесь! Мало ли люди сходятся и расходятся. Вы, как я имею честь вас видеть, дама умная этакая, расчетливая, вам грех даже против старика будет; он наживал-наживал, а тут все прахом пройдет.

– Ничего я теперь не могу сделать! – сказала Домна Осиповна решительным тоном.

– И что же, дедушка теперь знает, что вы в разводе?

– Не думаю! По крайней мере я к нему не писала, а муж... не знаю.

– Тот не напишет, побоится; а то бы старик давно его к себе призвал и палкой отдул.

В это время обед кончился. Лакеи подали кофе и на столе оставили только ликеры и вина.

– Mesdames! – воскликнул Янсутский. – Угодно вам, как делают это английские дамы, удалиться в другую комнату или остаться с нами?

– Я желаю остаться здесь! – отозвалась первая Домна Осиповна. – Вы остаетесь, ma chere? – спросила она Мерову.

– Мне все равно! – отвечала та.

²⁴ Хотите? (франц.).

²⁵ Да (франц.).

Янсутский затем принялся неотступно угощать своих гостей ликерами и вином. Сам он, по случаю хлопот своих и беспокойства, ничего почти не ел, но только пил, и поэтому заметно охмелел; в этом виде он был еще отвратительнее и все лез к Тюменеву и подлизывался к нему.

– Очень вам благодарен, ваше превосходительство, за ваше посещение, – говорил он, беря стул и садясь между ним и Меровой.

Тюменев молча ему на это поклонился.

– Я, знаете... вот и она вам скажет... – продолжал Янсутский, указывая на Мерову, – черт знает, сколько бы там ни было дела, но люблю повеселиться; между всеми нами, то есть людьми одного дела, кто этакой хорошенький обедец затеет и даст?.. – Я! Кто любим и владеет хорошенькой женщиной?.. – Я! По-моему, скупость есть величайшая глупость! Жизнь дана человеку, чтобы он пользовался ею, а не деньги наживал.

– Правду это говорит он про себя? – спросил Тюменев Мерову с несколько ядовитой улыбкой.

– Нет, неправду: прескупой, напротив! – отвечала та.

– Ну, где же скупой? – возразил, немного покраснев, Янсутский.

– Конечно, скупой! – повторила Мерова.

– Вовсе не скупой!.. Вон Офонькин действительно скуп: вообразите, ваше превосходительство, ему раз в Петербурге, для небольших этих чиновничков, но людей весьма ему нужных, надо было дать обедец, и он их в летний, жаркий день позвал, – как вы думаете, куда?.. К Палкину в трактир, рядом с кухней почти, и сверх того еще накормил гнилой соленой рыбой в ботвинье; с теми со всеми после того сделалась холера... Они, разумеется, рассердились на него и напакостили ему в деле. По-моему, это мало что свинство, но это даже не расчет коммерческий: сделай он обед у Дюссо, пусть он ему стоит полторы – две тысячи, но устрой самое дело, которое, может быть, впоследствии будет приносить ему сотни тысяч.

– Каким же образом маленькие чиновники могут повредить или устроить какое бы ни было дело? – спросил Тюменев, по-видимому несколько обидевшись на такой рассказ.

– Ге!.. Маленькие чиновники!.. Маленькие чиновники – дело великое! – воскликнул Янсутский (будь он в более нормальном состоянии, то, конечно, не стал бы так откровенничать перед Тюменевым). – Маленькие чиновники и обеды управляют всей Россией!..

– Может быть, вы и меня угощаете обедом, чтобы подкупить на что-нибудь? – заметил ядовито Тюменев.

– О, ваше превосходительство, мог ли бы я когда-нибудь вообразить себе это! – произнес Янсутский, даже испугавшись такого предположения Тюменева.

– И не советую вам, – продолжал тот, – потому что пообедать – я пообедаю, но буду еще строже после того.

– О, совершенно верю! – продолжал восклицать Янсутский. – А я вот пойду позубоскалю немного над Офонькиным, – проговорил он, сочтя за лучшее перевести разговор на другой предмет, и затем, подойдя к Офонькину и садясь около него, отнесся к тому: – Василий Иванович, когда же вы дадите нам обед?

– Чего-с? – отозвался тот, как бы не поняв даже того, о чем его спрашивали. Его очень заговорил граф Хвостиков, который с самого начала обеда вцепился в него и все толковал ему выгоду предприятия, на которое он не мог поймать Янсутского. Сын Израиля делал страшное усилие над своим мозгом, чтобы понять, где тут выгода, и ничего, однако, не мог уразуметь из слов графа.

– Когда ж вы нам обед дадите? – крикнул ему на ухо во все горло Янсутский.

– Не дам никогда! – крикнул и с своей стороны громко Офонькин и немедленно же повернулся слушать графа Хвостикова.

– Господин Офонькин разговора даже об этом не любит, – заметил Тюменев.

– О, у меня есть его тысяча рублей! – произнес Янсутский. – Послезавтра же затеваю обед от его имени и издерживаю всю эту тысячу.

– А я все-таки ее с вас взыщу, – возразил ему, смеясь, Офонькин.

– Как же вы ее взыщете, когда у вас никакого документа на нее нет?

– А это будет неблагородно с вашей стороны, – сказал, по-прежнему смеясь, Офонькин.

– Неблагородно, но вкусно!.. Не правда ли, граф? – отнесся Янсутский к Хвостикову, который на этот раз и сострить ничего не мог, до того был занят разговором о своем предприятии.

Домна Осиповна обратила, наконец, внимание на то, что Бегушев мало что все молчал, сидел насупившись, но у него даже какое-то страдание было написано на лице. Она встала и подошла к нему.

– Отчего вы сегодня такой сердитый и недовольный? – спросила она его ласково.

– Не всем же быть таким счастливым и довольным, как вы, – отвечал он ей.

Домна Осиповна посмотрела при этом на него довольно пристально.

– Но и печалиться, кажется, особенно нечему, – проговорила она.

В ответ на это Бегушев ничего ей не сказал и, встав, обратился к Тюменеву.

– Ты хочешь ехать со мной? – спросил он его.

– Да, мне пора!.. – отвечал тот, вставая.

Домна Осиповна при такой выходке Бегушева изменилась несколько в лице.

– А как же я-то? – спросила она его.

– Вы, вероятно, долго еще здесь пробудете, но мне вас дожидаться некогда; а экипаж я за вами пришлю, – проговорил Бегушев скороговоркой, ища свою шляпу.

Домна Осиповна видела, что он взбешен на нее до последней степени, но за что именно, она понять не могла. Неужели он приревновал ее к Хмурину?.. Это было бы просто глупо с его стороны... Она, конечно, могла настоять, чтобы Бегушев взял ее с собою, и дорогою сейчас же бы его успокоила; но для Домны Осиповны, по ее характеру, дела были прежде всего, а она находила нужным заставить Хмурина повторить еще раз свое обещание дать ей акций по номинальной цене, и потому, как кошки ни скребли у ней на сердце, она выдержала себя и ни слова больше не сказала Бегушеву.

Янсутский, услышав о намерении двух своих гостей уехать, принялся их останавливать.

– Будет, будет уж, достаточно вы подкупили нас вашим обедом, – подтрунивал над ним Тюменев.

Янсутский окончательно струсил.

– Ваше превосходительство, неужели вы могли подумать? – говорил он, прижимая руку к сердцу.

Тюменев начал раскланиваться с m-me Меровой и при этом явно сделал чувствительные глаза.

– Вы, если я не ошибаюсь, постоянная жительница Москвы? – говорил он, крепко-крепко пожимая ей руку.

– Нет, вовсе... конечно, когда мои знакомые... то есть, пока живет здесь папа мой... – отвечала m-me Мерова, совершенно смутившись и при этом чуть не проговорившись: «Пока Янсутский здесь живет»... – Летом, впрочем, я, вероятно, буду жить в Петергофе...

– Надеюсь, что вы тогда дадите мне знать о себе, – продолжал Тюменев, все еще не выпуская ее руки.

– Непременно, непременно! – отвечала m-me Мерова; ей, кажется, был немножко смешон этот старикашка.

Домне Осиповне Тюменев поклонился довольно сухо; в действительности он нашел ее гораздо хуже, чем она была на портрете; в своем зеленом платье она просто показалась ему какой-то птицей расписной. Домна Осиповна, в свою очередь, тоже едва пошевелила голо-

вой. Сановник петербургский очень ей не понравился своим важничаньем. Бегушев ушел за Тюменевым, едва поклонившись остальному обществу. Янсутский проводил их до самых сеней отеля и, возвратившись, расстегнул свой мундир и проговорил довольным голосом:

– Черт с ними!.. Очень рад, что убрались! Сейчас тапер явится: попоем, потанцуем? Дам только мало! А что если бы пригласить ваших знакомых: Эмму и Терезию? – присовокупил он, взглянув вопросительно на Хмурина и Офонькина.

Хмурин только усмехнулся и потряс головой, но Офонькин заметно этому обрадовался.

– О да, это весело бы было! – сказал он.

– Но как это дамам нашим понравится? – спросил негромко граф Хвостиков.

– Ничего, я думаю! – отвечал Янсутский. – Елизавета Николаевна, – обратился он к Меровой, – вы не оскорбитесь, если мы пригласим сюда двух француженок – немножко авантюристок?

– Что ж, я сама авантюристка! – отвечала та наивно.

– А вы, Домна Осиповна? – обратился Янсутский к Олуховой.

– Ах, пожалуйста, я совершенно без всяких предрассудков.

– Граф, сходите, – сказал Янсутский Хвостикову.

Тот при этом все-таки сделал маленькую гримасу, но пошел, и вслед за тем, через весьма короткое время, раздались хохот и крик француженок.

– Нор!²⁶ – воскликнула одна из них, вскакивая в комнату, а затем присела и раскланялась, как приседают и раскланиваются обыкновенно в цирках, и при этом проговорила: – Bonsoir, mesdames et messieurs!²⁷

– Нор! – повторила за ней и другая, тоже вскакивая и тоже раскланиваясь по образцу товарки.

– Guten Abend, meine Herren und meine Damen!²⁸ – произнесла, входя скромно, третья. Она была немка, и граф захватил ее для каких-то ему одному известных целей.

– Прежде всего вина! – воскликнул Янсутский и вкатил сразу каждой из вновь прибывших дам стакана по три шампанского.

– Nous allons danser!²⁹ – воскликнули радостно француженки, увидя входящего и садящегося за рояль тапера.

– Danser!³⁰ – повторил за ними и Янсутский.

– А я с вами; вы от меня не спасетесь, – говорила Домна Осиповна, подходя и подавая руку Хмурину.

– Ходить, сударыня, могу, а танцевать не умею, – отвечал тот.

Мерову взял Офонькин, немку – граф Хвостиков, а Эмму-француженку – Янсутский. Танцы начались очень шумно. Оставшаяся свободною француженка Тереза принялась в углу танцевать одна, пожимая плечами и поднимая несколько свое платье.

– Так я завтра же непременно заеду к вам за акциями, – говорила Домна Осиповна, водя своего кавалера за руку, так как он совершенно не знал кадрили.

– Завтра же, сударыня, и приезжайте, – говорил он, выхаживая перед ней, как медведь.

Домну Осиповну это очень развеселило, и она принялась танцевать с большим увлечением.

После кадрили последовал бурный вальс. Домна Осиповна летала то с Янсутским, то с Офонькиным; наконец, раскрасневшаяся, расплывшаяся, с прическою совсем на стороне,

²⁶ Гоп! (франц.).

²⁷ Добрый вечер, дамы и господа! (франц.).

²⁸ Добрый вечер, господа и дамы! (немец.).

²⁹ Будем танцевать! (франц.).

³⁰ Танцевать! (франц.).

она опустилась в кресло и начала грациозно отдыхать. В это время подали ей письмо. Она немножко с испугом развернула его и прочла. Ей писал Бегушев:

«Посылаю вам экипаж; когда вы возвратитесь домой, то пришлите мне сказать или сами приезжайте ко мне: я желаю очень много и серьезно с вами поговорить».

Домна Осиповна поняла, что надобно спешить тушить пожар. Она немедленно собралась.

– Куда же вы? – спросили все ее с удивлением.

– Нужно-с! – отвечала она коротко и уехала.

Мерова тоже вскоре после того начала проситься у Янсутского, чтобы он отпустил ее домой. Ей, наконец, стало гадко быть с оставшимися дамами. Янсутский, после нескольких возражений, разрешил ей уехать.

– Вы, смотрите, недолго же здесь оставайтесь, а то вы, пожалуй, бог вас знает, чего не наделаете с этими вашими дамами, – говорила она Янсутскому, когда он провожал ее в передней.

– Не останусь долго! – успокаивал он ее во всеуслышание, но, однако, еще нескоро приехал, и танцы с француженками продолжались часов до пяти утра, и при этом у всех трех дам кавалеры залили вином платья и, чтобы искупить свою вину, подарили каждой из них по двести рублей.

Глава IX

Бегушев принадлежал к тому все более и более начинающему у нас редеть типу людей, про которых, пожалуй, можно сказать, что это «люди не практические, люди слова, а не дела»; но при этом мы все-таки должны сознаться, что это люди очень умные, даровитые и – что дороже всего – люди в нравственном и умственном отношении независимые: Бегушев, конечно, тысячекратно промолчал и не высказал того, что думал; но зато ни разу не сказал, чего не чувствовал. Ни в единый момент своей жизни он не был рабом и безусловным поклонником чьей-либо чужой мысли, так как сам очень хорошо понимал, что умно и что неумно, что красиво и что безобразно, что временно, случайно и что вечно!.. Но да не подумает, впрочем, читатель, что я в Бегушеве хочу вывести «прекрасного» человека или, по крайней мере, лицо «поучительное»!.. Ни то, ни другое: он был только человек, совершенно непохожий на тех людей, среди которых ему последнее время привелось жить, и кто из них лучше: он ли с своим несколько отвлеченным мирозерцанием, или окружающие его люди, полные практической, кипучей деятельности, – это я предоставляю судить вкусу каждого. По происхождению своему Бегушев был дворянин и из людей весьма достаточных. Воспитывался он сначала в дворянском институте, потом в Московском университете и, кончив курс первым кандидатом, поступил в военную службу, будучи твердо убежден, что эта служба у нас единственная хоть сколько-нибудь облагоустроенная в смысле товарищей, по крайней мере: память о декабристах тогда была очень еще жива в обществе! Но на первых же порах своей служебной деятельности Бегушев получил разочарование: прежде всего ему стало понятно, что он не родился для этих смотров и парадов, которых было очень много и на которых очень строго спрашивалось; потом это постоянное выдвиганье вперед и быстрые повышения разных господ Ремешкиных затрогивали и оскорбляли самолюбие Бегушева... Все это, наконец, до того отвратило его от службы, что он, перестав совершенно ею заниматься, сделался исключительно светским человеком и здесь, в благовонной «сфере бала», встретил некую Наталью Сергеевну – прелесть женского ума, сердца, красоты, – так что всякий, кто приближался к ней, делался или, по крайней мере, старался сделаться возвышенней, благородней и умнее. Время молодости Бегушева в России можно было бы в некоторой степени назвать временем какого-то боготворения женщин. Стихи: «К глазкам», «К губкам», «К кудрям женским», «Она», «К ней!» писались тысячами. Умные старики того времени приходили в недоумение и почти в негодование. «Помилуйте! – восклицали они. – Прежде Державин писал оду «Бог», «Послание к Фелице», описывал «Водопад», а нынешние поэты все описывают нам ножки и волосы своих знакомых дам!» Но как бы то ни было, Бегушев в этот период своей жизни был совершенно согласен с поэтами и женщин предпочитал всему на свете: в Наталью Сергеевну он безумно влюбился. Она ему ответила тем же. Взаимная страсть их очень скоро была замечена в обществе. Пожилой и очень важный генерал (муж Натальи Сергеевны) вызвал поручика на дуэль, и поручик его сильно ранил, за что разжалован был в солдаты и послан на Кавказ. Наталья Сергеевна бросила мужа-генерала и уехала на Кавказ за солдатом. Лет пять Бегушев был рядовым; наконец смиловались над ним: дали ему возможность отличиться и вслед за тем возвратили ему прежние чины. Бегушев сейчас же вышел в отставку и выхлопотал себе даже разрешение уехать за границу для излечения полученной им раны. Наталья Сергеевна опять последовала за ним. Сам старый муж ее хлопотал, чтобы ей дозволили это. Бегушев уехал в чужие края с большой ненавистью к России и с большой любовью к Европе и верою в нее. Там действительно приближалось довольно любопытное время. Бегушев с лихорадочным волнением был свидетелем парижской революции 48-го года; но он был слишком умен и наблюдателен, чтобы тут же не заметить, что она наполовину состояла не из истинных революционеров, а из статистов революции. Империя Наполеона и повсеместный разгром революционных попыток в Германии окончательно разбили его мечты.

Вера в Европу и ее политический прогресс в нем сильно поколебалась!.. Бегушев почувствовал даже какое-то отвращение к политике и весь предался искусствам и наукам: он долго жил в Риме, ездил по германским университетским городам и проводил в них целые семестры; ученые, поэты, художники собирались в его салоне и, под благодушным влиянием Натальи Сергеевны, благодушествовали. За это время Бегушев очень многому научился и дообразовал себя, и вряд ли оно было не самое лучшее в его жизни; но счастья прочного нет: над Бегушевым разразился удар с той стороны, с которой он никак не ожидал. Наталья Сергеевна, глубоко скрывая от Бегушева, в душе сильно страдала от своего все-таки щекотливого положения, — тогда женщины еще не гордились подобными положениями! Деликатная натура ее, наконец, не выдержала: она заболела и, умирая, призналась Бегушеву в своих тайных муках. Можно судить, что случилось с ним: не говоря уже о потере дорогого ему существа, он вообразил себя убийцей этой женщины, и только благодаря своему сильному организму он не сошел с ума и через год физически совершенно поправился; но нравственно, видимо, был сильно потрясен: заниматься чем-нибудь он совершенно не мог, и для него началась какая-то бессмысленная скитальческая жизнь: непрерывные переезды из города в город, чтобы хоть чем-нибудь себя занять и развлечь; каждодневное чтение газетной болтовни; химическим способом приготовленные обеды в отелях; плохие театры с их несмешными комедиями и смешными драмами, с их высокоценными операми, в которых постоянно появлялись то какая-нибудь дива-примадонна с инструментальным голосом, то необыкновенно складные станом тенора (последних, по большей части, женская половина публики года в три совсем порешала). Таким образом, в Европе для Бегушева ничего не оставалось привлекательного и заманчивого. Мысль, что там все малопомалу превращается в мещанство, более и более в нем укоренялась. Всякий европейский человек ему казался лавочником, и он с клятвою уверял, что от каждого из них носом даже чувствовал запах медных пятак. Вообще все суждения его об Европе отличались злостью, остроумием и, пожалуй, справедливостью, доходящею иногда почти до пророчества: еще задолго, например, до франко-прусской войны он говорил: «Пусть господа Кошуты и Мадзини сходят со сцены: им там нет более места, — из-за задних гор показывается каска Бисмарка!» После парижского разгрома, который ему был очень досаден, Бегушев, всегда любивший романские племена больше германских, напился даже пьян и в бешенстве, ударив по столу своим могучим кулаком, воскликнул: «Вздор-с! Этому не быть долго: немцы не могут управлять Европой, — это противоречило бы эстетике истории!..»

В продолжение всей своей заграничной жизни Бегушев очень много сближался с русской эмиграцией, но она как-то на его глазах с каждым годом все ниже и ниже падала: вместо людей умных, просвещенных, действительно гонимых и несправедливо оскорбленных, — к числу которых Бегушев отчасти относил и себя, — стали появляться господа, которых и видеть ему было тяжело.

Наскучавшись и назлившись в Европе, Бегушев пробовал несколько раз возвращаться в Россию; проживал месяца по два, по три, по полугодю в Петербурге, блестящим образом говорил в салонах и Английском клубе, а затем снова уезжал за границу, потому что и на родине у него никакого настоящего, существенного дела не было; не на службу же государственную было поступать ему в пятьдесят лет и в чине поручика в отставке!.. Что касается до предложения некоторых друзей его идти по выборам и сделать из себя представителя земских сил, Бегушев только ядовито улыбался и отвечал: «Стар я-с и мало знаю мою страну!» В сущности же он твердо был убежден, что и сделать тут ничего нельзя, потому что на ложку дела всегда бывает целая бочка болтовни и хвастовства! В Россию Бегушев еще менее даже, чем в Европу, верил и совершенно искренне соглашался с тем мнением, что она есть огромное пастбище второстепенных племен. При таком пессимистическом взгляде на все в Бегушеве не иссякла, однако, жажда какой-то поэзии, и поэзии не в книгах только и образцах искусства, а в самой жизни: ему мерещилось, что он встретит еще женщину, которая полюбит его искренне и глу-

боко, и что он ей ответит тем же. Человеку редко не удастся хоть отчасти осуществить постоянно и упорно им лелеемую мечту. В один летний сезон Бегушев приехал на воды; общество было там многочисленное и наполовину состояло из русских, и по преимуществу женщин. Все они хорошо знали Бегушева и бесконечно его уважали, как постоянного жителя Европы. Его еще молодцеватую и красивую фигуру беспрестанно видели то в тех, то в других кружках, сам же Бегушев вряд ли чувствовал большое удовольствие от этого общества; но вот с некоторого времени он начал встречать молодую даму, болезненную на вид, которая всегда являлась одна и почти глаз не спускала с Бегушева; это наконец его заинтересовало. Сойдясь однажды с нею в курзале, где кроме их никого не было других посетителей, он подошел к ней и спросил:

– Вы русская?

– Русская, – отвечала дама и вся покраснела при этом.

– Ваше семейство? – продолжал Бегушев.

– Я одна! Семьи у меня даже в России нет!..

– Вы дама или девица?

– Я замужем; но я не живу с мужем! – сказала дама и при этом окончательно пылала в лице.

– И что же, вам прописан курс здешних вод? – расспрашивал ее Бегушев.

– Нет, я так!.. От скуки больше, для развлечения...

– Болезнь, значит, у нас с вами общая: я тоже скучаю.

– Ну, это незаметно! Вы, кажется, здесь предмет такого общего внимания.

– То есть меня знают все, и я тоже всех знаю, – отвечал Бегушев, и лицо его при этом покрылось оттенком грусти.

Дама посмотрела на него внимательно. Далее потом на вопрос Бегушева об ее имени и отчестве она отвечала, что имя ее очень прозаическое: Домна Осиповна, а фамилия и еще хуже того: Олухова. О фамилии самого Бегушева она не спрашивала и сказала, что давно его знает.

Тот же вечер Бегушев провел уже у Домны Осиповны, а затем их всюду стали видеть вдвоем: робко и постоянно кидаемые взгляды Домною Осиповною на Бегушева, а наконец и его жгучие глаза, с каким-то упорством и надолго останавливаемые на Домне Осиповне, ясно говорили о начинавшихся между ними отношениях. Первым основанием для чувства Домны Осиповны к Бегушеву было некоторое чехвальство: он ей показался великосветским господином, имеющим большой успех между женщинами, которого она как бы отнимала у всех. Бегушев же видел в ней слабое, кроткое существо, разбитое в жизни негодяем мужем, о чем Домна Осиповна рассказала Бегушеву с первых же свиданий. Согреть своим дыханием и снова возвратить это существо к жизни – ему было несказанно приятно!..

Глава X

Приехав с обеда и отправив письмо к Домне Осиповне, Бегушев сидел в своем кабинете. У него даже глаза налились кровью от гнева. По натуре своей он был очень вспыльчивый и бешеный человек и только воспитанием своим сдерживал себя. Послышался негромкий звонок. Бегушев догадался, конечно, кто приехал; но он не пошевелился, чтобы поторопить своего Прокофия, который, разумеется, и отпер дверь не очень поспешно. В эти мгновения Бегушев кусал свои ногти. Наконец, раздались негромкие шаги, и вошла Домна Осиповна, ласково и кротко улыбаясь. Она, как бы ничего не случилось, сняла свою шляпку и, подойдя к Бегушеву, поцеловала его в лоб. Он и тут не пошевелился, а только насмешливо посмотрел на снятую ею шляпку. Домна Осиповна после того села напротив него.

– Ты сердит на меня за что-то, я вижу, – сказала она.

– Очень сердит, – отвечал Бегушев.

– Но за что?

– За все!.. За весь сегодняшний день!.. – отвечал Бегушев, нервно постукивая ногой.

– За весь день? – спросила с удивлением Домна Осиповна.

– За весь!.. Что бы вы там ни говорили, как бы на ссылались на моды, но в такие платья одеваться нельзя!.. Такие шляпки носить и так причесываться невозможно.

Домна Осиповна окончательно была удивлена.

– Почему же нельзя и невозможно? – спросила она почти насмешливо.

– Потому-с, – почти крикнул Бегушев, – что так могут одеваться только первобытные женщины... дикие, из лесов вышедшие... Вон, смотрите, ваша же подруга Мерова – она, по всему видно, лучше в этом отношении вас воспитана!.. Посмотрите, как она скромно, умно и прилично была одета!

Домна Осиповна вспыхнула при этом. Бегушев не подозревал, какое глубокое оскорбление нанес он ей этими словами: Домна Осиповна, как мы знаем, постоянно спорила и почти пикировалась с Меровой касательно туалета и, считая ее дурочкой, твердо была уверена, что та решительно не умеет одеваться, а тут вдруг что же она слышала, какое мнение от любимого ею человека?

– Madame Мерова вообще, я вижу, вам больше нравится, чем я!.. Что ж, займитесь ею: она, может быть, предпочтет вас Янсутскому, – проговорила она с наворачнувшимися слезами на глазах.

– Пожалуйста, не переходите на почву ревности!.. Вы сами хорошо знаете, что я слишком вас люблю, слишком стар, чтобы увлечься другой женщиной, – не говорите в этом случае пустых фраз! – возразил ей Бегушев.

– Как же мне не говорить, – продолжала Домна Осиповна. – За то, что я как-то не по вкусу твоему оделась, ты делаешь мне такие сцены и говоришь оскорбления.

– Ты-то уж меня очень оскорбила сегодня... Очень! – перебил ее Бегушев с запальчивостью. – Чувствовала ли ты, как ты сидела, когда мы ехали с тобой в коляске?

Домна Осиповна склонила при этом голову.

– Даже и то не по нем, как я сидела в коляске, – проговорила она.

– Очень не по мне – ты сидела, как бы сидела самая пошлейшая камелия.

– Это терпения никакого нет выслушивать такие сравнения!.. – сказала Домна Осиповна и окончательно заплакала.

Бегушеву сейчас сделалось жаль ее.

– Но пойми ты это, – заговорил он, ударяя себя в грудь, – я желал бы, чтобы ты никогда не была такая, какою ты была сегодня. Всегда я видел в тебе скромную и прилично держащую

себя женщину, очень мило одетую, и вдруг сегодня является в тебе какая-то дама червонная!.. Неужели этот дурацкий вкус замоскворецких купчих повлиял на тебя!

– Хорошо, я вперед буду так одеваться, как за границей одевалась, – сказала покорно Домна Осиповна. – Что же, в этом все твое неудовольствие?

– Нет, не в этом, – отвечал опять Бегушев с запальчивостью. – Я этого мерзавца Янсутского совсем не знал; но вы его, как сам он говорил, давно знаете; каким же образом вы, женщина, могли поехать к нему на обед?

– Каким же образом ваша приличная *madame* Мерова поехала к нему на обед? – спросила, в свою очередь, с ядовитостью Домна Осиповна.

– Что ж мне за дело до *madame* Меровой; она может ехать куда ей угодно... говорить, что хочет и как умеет...

– Но главное, – возразила Домна Осиповна, пожимая плечами, – на обеде у Янсутского ничего такого не было, что бы могло женщину шокировать!.. Все было очень прилично!

– Прилично! – воскликнул Бегушев и захохотал саркастическим смехом. – Прилично очень!.. Когда этот мерзавец за каждым куском, который глотал его гость, лез почти в рот к нему и спрашивал: «Хорошо?.. Хорошо?..» Наконец, он врал непродоходимо: с какой наглостью и дерзостью выдумал какую-то мадеру мальвуази, существовавшую при осаде Гибралтара, и вино из садов герцога Бургундского! Чем же он нас после того считает? Пешками, болванами, которые из-за того, что их покормят, будут выслушивать всякую галиматью!

– Не мне же было ему возражать и спорить с ним; это вам, мужчинам, следовало, – проговорила Домна Осиповна.

– Никто от вас и не требует, чтобы вы ему возражали, но вы должны были оскорбиться. Домна Осиповна решительно не понимала, чем она тут могла оскорбиться.

– И тотчас же уехать после обеда, если имели неосторожность попасть на такую кабацкую попойку, – добавил Бегушев.

Попойки кабацкой, по мнению Домны Осиповны, тоже совершенно не было, а были только все немного выпивши; но она любила даже мужчин навеселе: они всегда в этом случае бывают как-то любезнее. Впрочем, возражать что-либо Бегушеву Домна Осиповна видела, что совершенно бесполезно, а потому, скрепя сердце, молчала.

– Или эти милые остроты дурадея Хвостикова, которыми вы так восхищались!.. – не унимался между тем тот, не могший равнодушно вспомнить того, что происходило за обедом.

Домна Осиповна и на это молчала, что еще более поднимало в Бегушеве желчь, накопившуюся в продолжение дня.

– Но все это, разумеется, бледнеет перед тем, – заключил он с ядовитой усмешкой, – что вы – молодая женщина порядочного круга, в продолжение двух часов вели задушевнейшую беседу с мужиком, плутом, свиньей.

Домна Осиповна подняла, наконец, голову.

– Вот видишь, как несправедливы все твои обвинения, – сказала она. – Я с этим мужиком разговаривала о делах моих, по которым у меня хлопотать некому, кроме меня самой.

– Нет-с, вы мало что разговаривали с ним, вы с ним любезничали, чокались бокалами!.. Удивляюсь, как брудершафт не выпили!

– Нельзя же с человеком, говоря о каком-нибудь деле своем, говорить грубо.

– Вы никак не должны были с ним говорить!.. Он хоть человек не глупый, но слишком неблаговоспитанный! Если у вас есть с ним какое-нибудь дело, то вы должны были поверенного вашего послать к нему!.. На это есть стряпчие и адвокаты.

– Но я никого из этих адвокатов не знаю.

– В таком случае извольте мне поручить ваши дела и расскажите, в чем они состоят; я буду с Хмуриным разговаривать за вас.

Предложение это смутило Домну Осиповну. Она не хотела, чтобы Бегушев подробно знал ее состояние, и обыкновенно говорила ему только, что она женщина обеспеченная.

– Не хочу я тебя беспокоить моими делами, – возразила она. – Ты сам говоришь, что мы не должны обременять друг друга ничем и что пусть нас связывает одна нравственная привязанность!

Говоря это, Домна Осиповна, будто бы от жару, сняла свои букли и распустила немного косу и расстегнула несколько пуговиц у платья. Маневром этим она, видимо, хотела произвести приятное впечатление на Бегушева и достигнула этого.

– Посмотри, пожалуйста! – воскликнул он. – Не в тысячу ли раз ты в этом виде прелестнее, чем давеча была?

– Неужели же я растрепанная лучше, чем одетая? – спросила Домна Осиповна.

– Гораздо, потому что природа у тебя прекрасная, но вкуса нет.

Домна Осиповна при этом опять покраснела.

– Ну хоть в таком виде люби меня. Ты не сердишься больше на меня? Скажи! – говорила она, вставая и подходя к Бегушеву.

– Я не сержусь, но я огорчен!.. Я желал бы, чтобы ты была лучше всех в мире или, по крайней мере, умнее в каждом поступке твоей жизни.

– В таком случае учи меня, – продолжала Домна Осиповна, целуя его в лоб. – Что же делать, если я такая глупенькая родилась на свет!

– Ты не глупенькая, а тебе надобно гувернантку хорошую нанять.

– Найми гувернантку мне! – сказала покорным голосом Домна Осиповна.

В это время, без всякой осторожности, явился Прокофий, так что Домна Осиповна не успела даже прервать поцелуя своего, не то что поотойти от Бегушева.

– Подано кушать-с! – сказал Прокофий почти повелительным голосом.

Рассердясь на барина, никогда почти не ужинавшего, а тут вдруг ни с того, ни с сего приказавшего готовить затейливый ужин, Прокофий строжайшим образом распорядился, чтобы повар сейчас же начинал все готовить, а молодым лакеям велел накрывать стол.

– Хотите скушать чего-нибудь? – сказал Бегушев, уже начав Домне Осиповне говорить «ВЫ».

– Хорошо, – отвечала та, поправляя прическу у себя.

Они прошли в столовую.

– Я нарочно велел приготовить пулярдку с трюфелями, чтобы вам показать, какие могут быть настоящие трюфели, сравнительно с теми пробками, которыми нас угощал сегодня наш амфитрион...

И Бегушев сам наложил Домне Осиповне пулярды и трюфелей.

Она скушала их все.

– Есть, надеюсь, разница? – спросил ее Бегушев.

– Да! – согласилась Домна Осиповна, но в самом деле она так не думала, и даже вряд ли те трюфели не больше ей нравились.

– Теперь позвольте вам предложить и красного вина, которое, надеюсь, повыше сортом вина из садов герцога Бургундского!

И Бегушев налил Домне Осиповне действительно превосходного красного вина.

– О, это гораздо лучшее вино! – согласилась Домна Осиповна, все-таки не чувствуя в вине никакого особенного превосходства. В следующем затем маседуане она обнаружила, наконец, некоторое понимание.

– Как хорошо это пирожное; его никак нельзя сравнить с давешним!.. – начала уже она сама.

– Это из свежих фруктов, а то из сушеной дряни. Мещане!.. Они никогда не будут порядочно есть!.. – заключил Бегушев.

После ужина гостя и хозяин снова перешли в кабинет, и, по поводу коснувшегося разговора о Хмурине и Янсутском, Бегушев стал толковать Домне Осиповне, что эти дрянные люди суть продукт капитала, самой пагубной силы настоящего времени; что существовавшее некогда рыцарство по своему деспотизму ничто в сравнении с капиталом. Кроме того, это кулачное рыцарское право было весьма ощутимо; стоило только против него набрать тоже кулаков, – и его не стало! Но пусть теперь попробуют бороться с капиталом, с этими миллиардами денежных знаков! Это вода, которая всюду просачивается и которую ничем нельзя остановить: в одном месте захватят, в другом просочится!

Домна Осиповна по наружности слушала Бегушева весьма внимательно; но в душе скупача и недоумевала: «Бог знает, что такое он это говорит: деньги – зло, пагубная сила!» – думала она про себя и при этом была страшно утомлена, так что чрезвычайно обрадовалась, когда, наконец, часу в четвертом утра экипаж Бегушева повез ее на Таганку. Легши в такой поздний час, Домна Осиповна, однако, проснулась на другой день часов в девять, а в десять совсем была одета, и у крыльца ее дожидалась наемная извозчичья карета, сев в которую Домна Осиповна велела себя вести в знакомую нам банкирскую контору и при этом старалась как можно глубже сесть в экипаж: она, кажется, боялась встретить Бегушева и быть им узнанной.

В конторе она нашла того же жида, который в несколько минут заплатил ей по чеку восемьдесят тысяч. Уложив эти деньги в нарочно взятый для них саквояж, Домна Осиповна отправилась в контору Хмурина, где сидел всего один артельщик, который, когда Домна Осиповна сказала, что приехала купить акции, проворно встал и проговорил: «Пожалуйте-с; от Селивестра Кузьмича был уже приказ!» Домна Осиповна подала ему свой саквояж с деньгами, сосчитав которые, артельщик выдал ей на восемьдесят тысяч акций. Домна Осиповна, сев в карету с этими акциями, сначала было велела себя вести в банк, но потом, передумав, приказала извозчику ехать в прежнюю банкирскую контору.

– Я заехала к вам спросить, почем теперь хмуринские акции стоят, которые я сейчас купила, – отнеслась она к тому же жиду.

– Еще на десять рублей повысились со вчерашнего дня, – отвечал тот, махнув рукой.

Домна Осиповна некоторое время оставалась в недоумении.

– Уж я не знаю, не продать ли мне поэтому их, – проговорила она.

– Что ж, продайте – купим! – подхватил жид.

– А после где же я их возьму? – продолжала Домна Осиповна прежним нерешительным тоном.

– У нас же купите, когда они упадут в цене.

– Ну, купите их у меня! – произнесла Домна Осиповна каким-то робким голосом и подавая мешок с акциями жида. Тот что-то долго вычислял на бумажке.

– Сто шесть тысяч вам следует.

Домна Осиповна при этом радостно вспыхнула в лице: ровно двадцать шесть тысяч она наживала себе лишних.

– Деньгами ли прикажете, или какими-нибудь бумагами? – спрашивал ее жид.

– Дайте бумагами, которые только повернее.

– Пятипроцентными?

– Хорошо, – согласилась Домна Осиповна.

Затем, получив пятипроцентные и отвезя их в банк на хранение, она рассуждала сама с собой: «А Бегушев бранил меня, что я полюбезничала с Хмуриным; за такие подарки, я думаю, можно полюбезничать!... Право, иногда умные люди в некоторых вещах бывают совершенные дураки!»

Глава XI

Прошло месяца два. Часов в одиннадцать утра Домна Осиповна хотя уже и проснулась, но продолжала еще нежиться на своей мягкой и эластической постели. Она вообще очень любила и в постельке поваляться, и покушать – не столько хорошо и тонко, сколько много, – и погулять на чистом воздухе, и покупаться в свежей воде, и быть в многолюдном обществе, а более всего – потанцевать до упаду и до бешенства; может быть, потому, что Домна Осиповна считала себя очень грациозною в танцах. По происхождению своему она была дочь экзекутора из какого-то присутственного места, и без преувеличения можно сказать, что на ворованные деньги от метел, от песку, от дров была рождена, возвращена и воспитана. В начале жизни своей, таким образом, Домна Осиповна, кроме красивого личика, стройного стана и разнообразной практической изворотливости, ничего не имела. Родители ее, несмотря на скудость средств, вывозили ее по всевозможным публичным собраниям и маскарадам, смутно предчувствуя, что она воспользуется этим... Так и случилось: Домна Осиповна в очень недолгом времени сумела пленить господина Олухова, молодого купчика (теперешнего супруга своего), и, поняв юным умом своим, сколь выгодна была для нее эта партия, не замедлила заставить сего последнего жениться на себе; и были даже слухи, что по поводу этого обстоятельства родителями Домны Осиповны была взята с господина Олухова несколько принудительного свойства записочка. Но как бы то ни было, бедность и нужда вследствие этого остались сзади Домны Осиповны, и она вынесла из нее только неимоверную расчетливость, доходящую до дрожания над каждым куском, над всякой копейкой, и вместе с тем ненасытимую жажду к приобретению. Даже в настоящие минуты Домна Осиповна обдумывала, каким бы образом ей весь перед тем только сделанный туалет не очень в убыток продать и заказать себе весь новый у m-me Минангуа. Тогда она и посмотрит, как с нею будет равняться стрекоза Мерова; слова Бегушева об ее наряде на обеде у Янсутского не выходили из головы Домны Осиповны.

Вошла ее горничная.

– Господин Грохов приехал к вам, – доложила она.

Домна Осиповна почти обмерла, услышав имя своего адвоката. С тех пор как он, бог знает за что, стянул с нее двадцать тысяч, она стала его ненавидеть и почти бояться.

– Но я еще не одета совсем, – проговорила она.

– Он говорит, что ему телеграмму надобно сегодня посылать в Петербург, – присовокупила горничная.

«Что такое, телеграмму в Петербург?» – Домна Осиповна понять этого не могла, но, тем не менее, все-таки чувствовала страх.

– Куда ж ты его приняла, где посадила? – спросила она, вставая и начиная одеваться.

– Они в гостиной-с теперь, – объяснила горничная.

Грохов действительно находился в гостиной и, усевшись там на одно из кресел, грустно-сентиментальным взором глядел на висевшую против него огромную масляную картину, изображающую Психею и Амура. На этот раз он был совершенно трезв. После того похмелья, в котором мы в первый раз встретили его, он не пил ни капли и был здоров, свеж и не столь мрачен.

Хозяйка, наконец, вышла; она была еще в блузе и, не успев голову причесать хорошенько, надела чепчик и в этом наряде была очень интересна; но Грохов вовсе не заметил этого и только, при ее приходе, встал и очень почтительно раскланялся с ней.

– Здравствуйте! Что скажете хорошенького? – проговорила Домна Осиповна, садясь на диван и не без трепета в голосе.

Грохов тоже сел и, наклонив несколько голову свою вниз, начал с расстановкой:

– Я-с... получил... от вашего супруга письмо!

Домна Осиповна немного побледнела при этом.

– До меня касающееся? – спросила она.

– До вас, – отвечал Грохов, опять несколько протяжно.

– Что ж такое угодно ему писать обо мне? – спросила Домна Осиповна, стараясь придать насмешливый оттенок своему вопросу.

– Позвольте мне прочесть вам самое письмо, – сказал ей на это Грохов.

– Пожалуйста, – отвечала Домна Осиповна.

Грохов вынул из кармана письмо и принялся читать его ровным и монотонным голосом:

– «Почтеннейший Григорий Мартынович! Случилась черт знает какая оказия: третьего дня я получил от деда из Сибири письмо ругательное, как только можно себе вообразить, и все за то, что я разошелся с женой; если, пишет, я не сойду с ней, так он лишит меня наследства, а это штука, как сам ты знаешь, стоит миллионов пять серебром. Съезди, бога ради, к Домне Осиповне и упроси ее, чтобы она позволила приехать к ней жить, и жить только для виду. Пусть старый хрыч думает, что мы делаем по его».

Прочитав это, Грохов приостановился ненадолго, видимо, желая услышать мнение Домны Осиповны. Она же, в свою очередь, сидела бледная, как полотно.

– Нет, это невозможно! – произнесла она решительно.

– Отчего же? – спросил ее почти нежно и с живым участием Грохов.

Вопрос этот, по-видимому, удивил Домну Осиповну.

– С какой же стати я опять с ним буду жить? – сказала она.

– Да ведь для виду только! – объяснил ей Грохов.

– Сделайте милость, для виду!.. – воскликнула Домна Осиповна, голос ее принял какой-то даже ожесточенный тон. – Знаю я его очень хорошо, – он теперь говорит одно, а после будет говорить совсем другое.

Лицо Домны Осиповны горело при этом. Вероятно, в этом отношении она сохранила довольно сильные и неприятные воспоминания.

– Нет-с, он пишет – для виду только... – повторил Грохов.

Домна Осиповна взяла себя за голову и долгое время думала.

– Кто ж дедушке написал, что мы живем врознь?.. – спросила она.

– Старик пишет в письме, что Хмурин, богач этот здешний, приятель его, – отвечал Грохов.

Домна Осиповна прикусила язычок. Значит, она сама и виновата была во всем, потому что очень разоткровенничалась с Хмуриным.

– Если вы не съедетесь, пяти миллионов ваш супруг лишится, а это не безделица!.. – проговорил многозначительно Грохов.

Домна Осиповна перевела при этом тяжелое дыхание.

– Ненадолго хватит ему этих пяти миллионов, когда получит!.. Скоро их промотает на разных госпож своих! – проговорила она.

– О, нет-с!.. Зачем же?.. – возразил ей Грохов, как бы проникнувший в самую глубь ее мыслей. – Прежде всего он имеет в виду вас обеспечить! – присовокупил он и снова начал читать письмо: – «Ежели Домна Осиповна окажет мне эту милость, то я сейчас же, как умрет старый хрен, выделю ей из его денег пятьсот тысяч».

Услыхав это, Домна Осиповна, как ни старалась, не могла скрыть своего волнения: у нее губы дрожали и грудь волновалась.

– Нет, это невозможно!.. – повторила она еще раз, беря себя за голову, но заметно уже не столь решительным тоном.

– Отчего же невозможно? – спросил ее опять с некоторою нежностью Грохов. Он как будто бы сам влюблен в нее был и умолял ее не быть к нему жестокою.

– А если уж я люблю другого? Я женщина, а не камень! – ответила Домна Осиповна, гордо взмахнув перед ним голову свою.

– Так что ж такое!.. Ну и господь с вами, любите! – успокоивал ее Грохов.

– Как, любите другого? – спросила его со строгостью Домна Осиповна.

– Так-с, любите! – сказал нисколько не смущенный ее вопросом Грохов. – Супруг ваш предусмотрел это: «Надеюсь, – пишет он, – что она позволит мне привезти мою Глашу, и я тоже ни в чем ее не останавливаю: пусть живет, как хочет!»

– Еще бы он меня остановил!.. – проговорила Домна Осиповна и усмехнулась не совсем естественным смехом.

Самый простой, здравый смысл и даже некоторое чувство великодушия говорили Домне Осиповне, что на таких условиях она должна была сойтись с мужем, – во-первых, затем, чтобы не лишиться его, все-таки близкого ей человека, пяти миллионов (а что дед, если они не послушаются его, действительно исполнит свою угрозу, – в этом она не сомневалась); а потом – зачем же и самой ей терять пятьсот тысяч? При мысли об этих тысячах у ней голова даже начинала мутиться, в глазах темнело, и, точно звездочки светлые, мелькала перед ней цифра – пятьсот тысяч; но препятствием ко всему этому стоял Бегушев. Домна Осиповна предчувствовала, что это на него произведет страшное и убийственное впечатление. Вместе с тем, из последней происшедшей между ними размолвки, она убедилась, что Бегушев вовсе не считает ее за такое высокое и всесовершенное существо, в котором не было бы никаких недостатков; напротив, он находил их много, а с течением времени, вероятно, найдет еще и больше!.. (Домна Осиповна была опытна и прозорлива в жизни.)

«Что ж в итоге потом будет? – продолжала она быстро соображать. – Что, во имя какой-то не вполне вселяющей доверие любви, она пренебрежет громаднейшим состоянием, а что это глупо и неблагоразумно, скажет, конечно, всякий». Но тут перед Домной Осиповной являлась и другая сторона медали: положим, что это сближение ее с мужем так поразит и так взбесит Бегушева, что он бросит ее и покинет совершенно. Что он человек довольно неудержимого характера, она видела этому два-три опыта. «Ну что же, если и бросит, – говорил в Домне Осиповне ум. – Бог с ним, значит, он не любит ее!» – «Нет, напротив, это-то и покажет, что он ее безумно и страстно любит», – возражало сердце Домны Осиповны и при этом начинало ныть до такой степени, что бедная женщина теряла всякую способность рассуждать далее.

Грохов всю эту борьбу в ней подметил.

– Может быть, вы желаете поразмыслить несколько о предложении вашего супруга? – сказал он.

– Да!.. Я, конечно, должна подумать! – отвечала она.

– Поразмыслите и порассудите!.. – одобрил Грохов.

– И что же, муж, вероятно, предполагает внизу у меня в доме жить? – спросила Домна Осиповна.

– Без сомнения, внизу-с! Зачем его вам наверх к себе пускать?

– И что же, – продолжала Домна Осиповна, лицо ее снова при этом покрылось сильным румянцем, – госпожа эта тоже будет жить вместе с ним в моем доме?

– Ай, нет! Сохрани от этого бог! – воскликнул Грохов и замахал даже руками. – Надобно сделать так для виду, что вы будто бы как настоящий муж с женой живете... Дедушка – старик лукавый... он проводывать непременно будет; а эту госпожу пусть супруг ваш поселит, где хочет, посекретнее только, и пускай к ней ездит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.